

Чайковский. История одинокой жизни

Автор:

[Нина Берберова](#)

Чайковский. История одинокой жизни

Нина Николаевна Берберова

Чужестранцы

Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки.

Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России...

Нина Берберова

Чайковский. История одинокой жизни

© Tchaikovsky, Nina Berberova

© Actes Sud, 2003

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО "Издательство АСТ"

Предисловие

Прошло пятьдесят лет со времени написания этой книги, и, переиздавая ее, я хочу ответить на вопрос, часто задаваемый мне: почему я написала ее, почему биографию и почему именно Чайковского? 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы: отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прикрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приемы (прошлого века), как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описания природы, погоды: дурной – для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасной – для подчеркивания радостной встречи, или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы, из статьи, написанной героем через двенадцать лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор ими пользуются не только авторы “для широкой публики”, но даже ученые историки. Недавно автор одного труда по русской истории XX века в Ленинграде написал книгу о Февральской революции и 1917 г., где признается, что “разрешал себе реконструировать прошлое на основе документальных материалов и воспоминаний” (чьих?). К этому прибавлено примечание: “Редакция всех диалогов в книге принадлежит автору, поэтому он просит не рассматривать их как цитаты из исторических документов или мемуаров. В ряде случаев автор располагал только упоминанием о встрече тех или иных лиц и самим фактом наличия беседы между ними. Тогда диалог полностью относится к художественной форме передачи исторического материала”. На с. 31 даже дается пример: “Родзянко пожевал губами: «По Думе стало у нас в блоке большинство», – рассуждал про себя Родзянко”.

Законы были даны, и в Европе, и в США началась мода на совершенно новые (не романсированные, но серьезные) биографии. Никого не забыли, ни древних, ни новых, ни поэтов, ни политиков, ни художников, ни знаменитых любовников. Биографии раскупались быстро, и большинство имело успех. Я чувствовала, что хочу поработать в этой области. Выбор был найден очень скоро, в начале 1930-х г. г., в издательстве “Академия” сначала в Ленинграде, а потом в Москве вышло несколько томов архивных материалов о П.И. Чайковском: переписка его с Н.Ф. фон Мекк, переписка с близкими, неизданный дневник (еще в 1923 г.), воспоминания современников. Все это было снабжено примечаниями, имевшими

прямое отношение не столько к его музыке, сколько к нему самому, к его личности и жизни. Возрождение жанра и обилие документации были двумя основными причинами моего решения.

Третьей причиной, для меня важной, было то, что мой издатель М.С. Каплан (Дом книги, rue de l'Éperon, в Париже) не только сочувствовал моему проекту, но и обещал издать мою книгу и даже платить мне авторские. Кроме того, так как я регулярно помещала (главным образом по воскресеньям) мои рассказы и очерки в ежедневной русской газете "Последние новости", я предвидела, что смогу давать вместо рассказов главы из будущей книги. Это с точки зрения материальной было мне необходимо, без регулярного сотрудничества в газете я не могла свести концы с концами, я жила исключительно литературным трудом.

Но были еще факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении: поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860-70 гг., доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними – с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича (бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета), с первой Татьяной – Марией Николаевной Климентовой, с внуками фон Мекк. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не смогла бы написать своей книги. Среди них был и Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы.

С Аргутинским, снимавшим в 1893 г. комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую, я твердо была убеждена, настало время раскрыть. Впрочем, она была раскрыта уже в 1923 г., когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца восьмидесятых годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти – благодаря Фрейдю, отчасти – благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. Андрогинизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около 20 % людей, из которых три четверти позже просто забывают его или вырастают из него. Я только позже поняла, почему пять или шесть ближайших друзей моего отца и моей матери мне казались, в раннем детстве, чем-то непохожими на остальных их знакомых – они никогда не были женаты, у них не было детей, и их почему-то шутя дразнили, что они "живут с племянниками", но эти племянники никогда не приглашались к нам в гости!

Русские читатели моей книги не могли оставаться в неведении. Я поняла, что мне предстоит задача коснуться проблемы, до которой до сих пор почти никто не касался. Я не могла притвориться, что Дневника, изданного Ипполитом Ильичем, никогда не было, и не только не могла, но и не хотела.

В русской эмигрантской газете, где редактором был П.Н. Милюков, цензура касательно любовных вкусов великих людей была довольно строгая, но с первого же напечатанного мной отрывка (раннее детство) читатели, как и сами редакторы газеты, видимо, проявили к книге интерес. Эти ранние главы увидели свет до того, как я стала интервьюировать людей, знавших Чайковского, и они дали им возможность узнать о самом факте моей работы над книгой и, может быть, судить о ее качестве.

Сергей Васильевич Рахманинов в то время был в Париже, куда приезжал давать свой ежегодный концерт. Он жил в отеле “Мажестик” (на авеню Клебер), но не в самом здании гостиницы, а во дворе, в огромном нарядном флигеле, где снимал одну из удобных и просторных квартир отеля, пользуясь всеми благами этой, одной из лучших тогда, гостиницы Парижа.

С высоты своего роста, который, несмотря на его сутулость, был так для него характерен, он смотрел не на меня, а поверх меня. Неподвижное, длинное его лицо и необычайно длинные руки, негромкий, даже несколько монотонный голос были очень характерны для него. Много он сказал мне тогда, что я тогда же записала с его позволения, но самым ценным был его рассказ о той маске, которую Чайковский как бы носил всю жизнь и которая исчезла с его лица в день его смерти. Всю жизнь он ходил как бы в мягких туфлях, редко поднимая голос, и в его лице всегда должна была быть та приятность и мягкость, о которой помнили все, кто его знал. Не только постоянная мысль, как бы кого не обидеть или не задеть, но и правило: как бы даже не спорить ни о чем, чтобы ни в коем случае не раздражить собеседника. Да, иногда и важный, и холодный с незнакомыми молодыми (особенно с “барышнями”), упорный в беседах с “кучкой”, но это, по словам Сергея Васильевича, были исключения, – уже на следующий день – обычная нежность к Н.А. Римскому, полная гармония при встрече с Бородиным, всегда уважительный тон при встрече с Балакиревым. Стекланный мальчик – как его называла в детстве Фанни, гувернантка в Воткинске, бархатный мальчик – до самого конца.

Глазунов принимал меня сидя у рояля, тучный, тяжелый, медлительный, с сигарой во рту, давно потухшей, но все еще сыпавшей свой пепел между

клавишами. Квартира была темной, с тяжелой мебелью. Он сам открыл мне дверь и после часового разговора сам вывел меня на лестницу. Он ни разу не улыбнулся. Он несколько раз начинал свой рассказ словами: “Мы с Лядовым”... в санях, вечером с ним возвращались (с концерта?)... “Мы с Лядовым” в санях садились друг другу на колени, чтобы ему дать место. “Извозчичьи сани, помните, в Питере были такие узкие...” Да, этому великану они, конечно, были узки, и запахнуть полость было, вероятно, не легко. От Лядова и саней разговор перешел к недостаткам Петра Ильича: у него их не было, сказал Александр Константинович, просто не было в характере. Была, конечно, личная, интимная его проблема, но она никого из нас не беспокоила, у каждого из нас есть тайны, спокойно говорил он мне, пора к этому привыкнуть. (Сам он, как Тургенев, как Джон Рескин, как герой набоковской “Лолиты”, любил совсем юных девочек и... женился на матери одной из них.)

На крышке рояля стоял стакан с красным вином, и Глазунов несколько раз вставал и отпивал из него. Он признался, что многое за последний год забыл, что он все хотел записать, но не записал, и, вынув окурочек сигары изо рта, поцеловал мне руку на прощание.

Побывала я и у Прасковьи Владимировны Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавицы, роман которой с Антоном Рубинштейном не был тайной в Москве. (А Николай Григорьевич мне не достался, весело сказала она мне, он достался Третьяковой.) Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши, она думала, что я ее сверстница, и прислала вместо себя кого-то другого. Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным (двенадцати и тринадцати лет) и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому: она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал – за письменным столом и роялем, – Алеша (слуга) приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему: вы написали, что это случалось каждую ночь, напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком. Я старалась перевести разговор на другие рельсы и повернуть к интимным темам, но она, к моему удивлению, только и ждала, чтобы об этом поговорить. “Я у него поклонника отбила в Тифлисе, когда он у нас гостил”, – весело улыбаясь, сказала она мне. “Это был Вертинский”, – ответила я. “Да, это был Вергинский, и Петя никогда не мог простить мне этого”.

На мой вопрос, как реагировало общество, в котором она цвела и блистала, она ответила, улыбаясь лукаво, что никто ничему не удивлялся, все более или менее этим занимались в юности, а девять великих князей были этим известны. (По моему счету их было восемь.) Надо было только “вести себя прилично и не скандалить”. Апухтин свои любовные стихи писал всю жизнь “о ней”, не “о нем”, он развратил Петра Ильича, будучи в тринадцать лет любовником Шильдера-Шульдера, классного наставника, бывшего возлюбленного вел. кн. Константина Константиновича, человека женатого и имевшего семь человек детей, – он был, кстати, директором училища Правоведения и отмечал Петю.

Затем, взглянув на меня как-то особенно значительно, она сказала, что о таком поведении Чайковского у нее есть в сундуке один интересный документ – дневник Петра Ильича, где он пишет об Эдуарде.

Я окаменела. В углу комнаты, где она жила (в русском общежитии в Нейи для одиноких старушек, которым заведовала вдова бывшего Виленского губернатора и члена Государственного совета Любимова), стоял большой, видимо, еще русский сундук. Осторожно я наводила ее на содержание дневника. Оказалось, что это та самая тетрадь, которую Ипполит Ильич выпустил в свет в 1923 году в Петрограде. Прасковья Владимировна не поверила, когда я сказала ей, что этот дневник можно найти в библиотеках, что я его читала. Она думала, что этот дневник был напечатан в одном экземпляре и она была единственная, которая читала его. Сейчас он переведен на многие (если не все) европейские языки.

Я попросила ее позволения тут же кое-что записать, я продолжала записывать в метро и дома прямо села к столу. И писала до полуночи.

Знакомство наше продолжалось с 1936 до 1947 г. У меня от нее сохранилось 16 писем, она бывала у меня, я изредка навещала ее. Дочь ее, Татьяна Анатольевна, по первому мужу Веневитинова, по второму – баронесса Унгерн-Штернберг, была третий раз замужем за англичанином и жила в Лондоне. Прасковья Владимировна одно время гостила у нее. В Париже, уже во время войны, я познакомилась с ее внуком, Веневитиновым, который назывался Мирок. А после войны – с одной из двух внучек, приехавшей из Лондона и в это время начавшей развод со своим английским мужем. Когда П.В. при мне упрекала ее за это и говорила, что “этот муж умный, интересный, ученый человек”, она отвечала: “Бабушка, мне с ним скучно”.

Вот несколько отрывков из писем П.В. ко мне:

11 мая 1936. 61 Goldburst Terrace. London N. III. 6.

Дорогая Нина Николаевна,

Вы не можете себе представить, какое удовольствие Вы мне доставили Вашим драгоценным для меня подарком. Я наслаждаюсь, читая живо, ярко и трогательно описанное Вами детство П.И. К сожалению, я не могу сразу без остановки...

Вы мне говорили, что Извольская переводит Вашу книгу – на каком языке? На французском или английском? Если Вы еще ни с кем не сговорились насчет последнего, то моя дочь предлагает Вам свои услуги, она с удовольствием это сделает: ей принесли дневник П.И. с просьбой его перевести, но она находит, что Ваша книга интереснее будет у публики, – нахожу и я. Половина его дневника может быть интересна для самых его близких, как напр., для меня, т. к. я сама присутствовала в этой жизни... Он не хотел, чтобы он был напечатан.

Я не знала, что Вы искали сведения о П.И. от Глазунова, Рахманинова и Володи Аргутинского, и Волконского. В Рахманинове он первый увидел будущую знаменитость... Глазунова он любил, и многое из его сочинений ему нравилось. Волконского он не любил, а Володя Аргут. был при его жизни сначала прелестным мальчиком, а потом симпатичным юношей, но когда он узнал, что у П.И. холера, он убежал и не показывался до его похорон.

Ваша статья о Глазунове мне очень понравилась, но Вы идеализировали его наружность и его дар слова. Быть может, он на старости лет изменился, но когда я его видела в Петербурге – и довольно часто, – он наводил на меня тоску: он изредка молчал, смотрел бессмысленно куда-то вдаль и всегда был пьян. Я не знала, что он женат, – когда он женился и на ком? И видели ли Вы ее?

7 февраля 1937. Лондон.

Очень рада была получить Ваше фото. В шляпе Вы больше похожи, но на обеих хуже, чем Вы есть.

Когда я читала в “Последних новостях” Ваши фельетоны, то воображала Вас сухой, худой старушонкой, с серо-желтым лицом и большим крепковатым носом, с тонкими бледными губами, волосами *sei etpoivre* [соль и перец], в нанковой серой юбке и такой же кофте. И вдруг является молодая, красивая, яркая и донельзя симпатичная женщина, с розами в руках – настоящая весна! И я этой женщине простила все зубы, которые имела против старушонки.

9 мая 1947. 41 te de Plaisance ?La Garenne - (Seine). Дорогая Нина Николаевна,

Прочла Вашу статью в “Русской мысли”, восторгалась, плакала, и так захотелось Вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я Вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь жизнь у меня одно страданье, и я оживаю, только когда вижу своих друзей.

Я нигде не бываю и прошу Вас, дорогая, навестить меня, чем меня обрадуете.

Где Вы? В путешествии или дома? Когда получите мое письмо, протелефонируйте мне и мы сговоримся о нашем свидании. Я иногда приезжаю в Париж к доктору и тогда ночую у моей внучки. Я хочу быть с Вами вдвоем, чтобы никто нам не мешал.

Крепко вас обнимаю. Сердечно Ваша,

П. Чайковская

Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков умер в Париже в 1941 г. Я была у него в 1936 г. два раза. Он жил в своей квартире, в районе Елисейских Полей, которую снимал еще до войны 1914 г. Поблизости был не только дворец президента, но и центр больших антикварных магазинов. Он до конца своей жизни занимался “русским антиквариатом”. Он был невысок, но все еще красив, и в обхождении его с людьми было что-то особенное, старомодное, но никогда не смешное. Он сказал мне, что теперь он “старьевщик”, а когда-то был коллекционером.

Коридор, по которому он провел меня в комнату, был завален старыми холстами, рамами и подрамниками и просто хламом, где, вероятно, никаких сокровищ нельзя было бы найти. Аргутинскому я обязана детальным описанием последних дней холеры; он был четвертым, кто на простыне опустил Чайковского в ванну, полную воды комнатной температуры, накануне смерти, – не для того, чтобы вылечить его, а для того, чтобы облегчить его страдания. Он тогда снимал комнату в квартире Модеста на Морской (теперь Герцена), где жил и Боб Давыдов и где была комната Чайковского, когда он приезжал в Петербург. Четверо, опустившие тело в ванну, были Модест Ильич, Аргутинский, слуга Никифор и бывший лакей Чайковского, Алеша, вызванный срочно из Клина, теперь женатый и отец семейства. Все четверо уже знали, что состояние Петра Ильича безнадежно.

С Аргутинским я говорила два раза. Александр Николаевич Бенуа дал мне мысль пойти к нему и попросил его меня принять. Он сказал мне, как бы случайно: Арго знает, кто был Эдуард. Задайте ему этот вопрос. Но ни в первый, ни во второй раз Владимир Николаевич на этот вопрос мне не ответил. Разговоры с ним навсегда вошли в мою память – о музыке Чайковского мы почти не говорили. Этой темы я, никогда не уважавшая дилетантства и не будучи музыковедом, в своей книге не могла касаться. У Владимира Николаевича оказались две темы: смерть Чайковского, при которой он присутствовал, и Боб Давыдов, племянник Чайковского и его последняя любовь. Он так сам мне и написал, когда я попросила принять меня (письмо было написано по старому правописанию):

Буду очень рад с Вами встретиться и рассказать Вам то небольшое, что уцелело в моей памяти о Бобе Давыдове.

Но, конечно, и Боб Давыдов был мне в высшей степени интересен.

Во вторую встречу Аргутинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом – Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в “Последних новостях”. С.М. был внуком декабриста Поджо и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Аргутинскому, что ужасно жалеет, что “о нашем драгоценном Петре Ильиче” пишет женщина, а не “один из нас”!

Я заговорила с ним о том, что потомство Н.А. Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством, и спросила его о причине такого слуха. Аргутинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов; одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая – за Чайковского. Из этого ничего не вышло. Одна в конце концов вышла за Римского, а другая – за некоего Молласа. Обиженные дамы мстили жестоко: они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные и тайные проблемы. Аргутинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подозрений о скрытом самоубийстве: первый – отмена в России предварительной цензуры после 1905 г., когда вышли срочным порядком “Гавриилиада” Пушкина (в 1906 г.) и в 1912 г. собрание сочинений Оскара Уайльда (включая “De Profundis”), и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание В.В. Розановым своей книги “Люди лунного света”. Второй факт: полная отмена цензуры (кроме военной) после Февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей “изобличенного в мужеложстве и за него осужденного” наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 г.

И предвоенные, и военные годы были расцветом славы Розанова и славы поэта Михаила Кузмина, и многих “разоблачений”. Нет ни одного шанса, чтобы такая сенсация, как самоубийство русского композитора мировой известности из страха попасть под статью 995, не попало бы в печать – серьезную или бульварную, русскую или иностранную, и не вызвало бы открытого обсуждения!

Третий факт, о котором напомнил мне Аргутинский, был еще более серьезным: во второй половине 1880-х гг. была открыта бактерия холеры. С этого дня больных холерой перестали насильно увозить в госпитали и закрывать гроб умерших от холеры немедленно после смерти. Было доказано, на трех международных медицинских съездах известными русскими, французскими, английскими и немецкими медиками, что холерная бактерия передается исключительно через испражнения холерных больных, через антисанитарную канализацию (или полное отсутствие ее), через нечистоты, куда шли нечистоты, или в тех городах и селах, где питьевая вода проходила в почве, загрязненной фекалиями. (“Вестник общественной гигиены”, апрель, 1902 г.) После открытия бактерии ни от больного, ни от его мертвого тела никто уже не боялся заразиться холерой.

Несмотря на это, а также на свидетельство, официально подписанное лейб-медиком, д-ром Львом Бертенсоном (см. монументальный труд Герберта Вайнштока “Жизнь Чайковского”, А. Кноpf, N. K, 1943), сенсационная версия самоубийства до сих пор остается в умах некоторых, видимо, недостаточно осведомленных людей, живучей. Несколько лет тому назад издательство Оксфордского университета, по слухам, даже собиралось издать книгу о том, как в 1966 г. “одной даме” сказал “один господин”, которому сказала “одна дама”, которой в 1902 г. сказал на смертном одре ее умирающий муж о том, что Чайковскому была дана пилюля “судьями” (шестью?), бывшими товарищами композитора по училищу Правоведения, посоветовавшими ему покончить с собой, чтобы не позорить “ни себя, ни Россию”. Впрочем, пилюли у них с собой не было, и они обещали ее принести Петру Ильичу на следующее утро, в квартиру Модеста Ильича, что ими и было сделано.

Чайковский смиренно подождал до утра, принял пилюлю, имея почти сутки на размышления. Он спокойно мог взять извозчика и поехать не домой, а прямо на Варшавский вокзал, и оттуда в Берлин, протелеграфировав на Морскую, – деньги его, как всегда, лежали в Берлине у музыкального издателя Бесселя. И все это потому, что якобы он недавно, едучи на пароходе из Европы в Одессу, познакомился с одним мальчиком, кажется тринадцати лет, и гувернер донес отцу, известному барону Стенбок-Турмору (видимо, Стейнбок-Фермору). На самом деле неприятности у Чайковского были года три назад, о чем знали не только в Петербурге и Москве, но и в Тифлисе (Прасковья Владимировна и Анатолий Ильич), когда он плыл по Черному морю и познакомился с сыном проф. Склифосовского (кстати, не тринадцати, а семнадцати лет). Любопытно знать, не слышал ли об этом “романе” что-либо Томас Манн, когда писал свой роман “Смерть в Венеции” (1912)?

Принимая во внимание то обстоятельство, что в училище Правоведения директором был вел. князь Константин Константинович (внук Николая I), который был тех же вкусов, что и композитор, и что одна десятая учеников (по самому скромному счету) также была по эту сторону российского закона, один из судей почти наверное сочувствовал Петру Ильичу.

Принимая во внимание, что Боб Давыдов жил главным образом на средства “дяди Пети”, Чайковский легко мог уехать не один, а взять племянника с собой – в Париж, или Ментону, или Кларен.

Принимая во внимание, что 995-я статья царского свода законов приравнивала гомосексуализм к скотоложству, вполне допустимо предположить, что аристократия, верхи интеллигенции, столичное купечество (в обеих столицах) подвергались суду и наказанию только в самых исключительных случаях. Известен один случай с человеком, знакомым довольно многим, преподавателем латыни и греческого, любовником московского губернатора, вел. кн. Сергея Александровича (брата Александра III), которого судили и которому дали три года “изгнания” в Саратов, а затем вернули в Москву. Всем было известно, что богатых и знатных “скандалистов” отсылают на время на Ривьеру, а “мужиков” – в Сибирь, откуда они почти никогда не возвращаются к себе в деревню, находя жизнь в Сибири “вольготнее”, и где им не угрожал вопрос брака.

Великих князей никогда не беспокоили. В октябре 1917 г. часть их уехала и оказалась в Париже, где и прожила до старости. Другая часть их была расстреляна во дворе Петропавловской крепости в 1919 г. В дореволюционной России было, как известно, два суда: один – для богатых и сильных, другой – для бедных и слабых. Исключения, конечно, бывали и даже не так уж редко, но, как общее правило, был обычай: титулованных, царских слуг и министров, членов Государственного совета, купцов-миллионеров, известных актеров и других популярных людей усылать на время в Европу, если “скандалят”. Приведу здесь список великих князей (членов семейства Романовых), которых не судили по 995-й статье:

Сергей Александрович – дядя Николая II,

Николай Михайлович – двоюродный брат Александра III,

Константин Константинович – внук Николая I,

Олег и два его брата – сыновья Конст. Конст.,

Дмитрий Константинович – брат Конст. Конст-ча,

Дмитрий Павлович – двоюродный брат Николая II,

Юсупов Ф.Ф. – женатый на племяннице Николая II.

Из видных людей:

В дирекции Эрмитажа – трое,

В дирекции Императорских театров – двое,

Крупные актеры Императорских театров – трое,

Видный редактор крупного журнала – один.

И последнее: для любящих сенсации напомним, что по закону (до 1917 г.) самоубийц хоронили не “в общей могиле”, как недостойных церковного погребения (и Чайковский думал об этом, когда готовился покончить с собой в 1878 г. после неудачной женитьбы), а давали попу в ладонь золотой, пятнили десятирублевик, и все происходило так, как если бы никакого самоубийства и не было.

Вспоминая теперь это далекое прошлое, я не могу скрыть того чувства благодарности, которое я чувствую к тем, которые так внимательно отнеслись ко мне и так мне помогли. Внук Н.Ф. фон Мекк, Адам Карлович Бенигсен, сын старшей дочери Надежды Филаретовны, несколько раз приглашавший меня к себе и говоривший со мной – не о Чайковском, которого он знать не мог, но о семье фон Мекков, о своем дяде, просадившем фонмекковские миллионы, и о другом, женившемся на племяннице Чайковского, Анне Давыдовой, сестре той Тани, которую П.И. так любил и которая тайно родила незаконного сына от знаменитого в свое время пианиста и профессора консерватории Феликса Блюменфельда и вскоре покончила с собой. Или Мария Николаевна Климентова, сопрано, начавшая свою оперную карьеру в консерватории как первая Татьяна, когда “Онегина” впервые поставили на консерваторском выпускном экзамене в Москве. Она была впоследствии женой С.А. Муромцева, председателя Первой Государственной думы, и среди Коншиных и Третьяковых, Морозовых и Щукиных блистала в Москве.

Моя биография П.И. Чайковского вышла в Париже, в “Доме книги” (рю де л’Эперон, 9), в 1937 году. Она была переведена на шведский, чешский,

немецкий, финский языки и в Швеции была бестселлером. На французский я перевела ее сама. Она вышла в 1948 г. в “Эдисьон дю Шэн”[1 - Второе издание “Чайковского” по-французски вышло в 1987 г. в издательстве Actes Sud во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того написанное. Оно повторено в голландском издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках.]. (Там же вышли в 1948–1949 гг. мои переводы “Вечного мужа” Достоевского и одной из первых книг о ГУЛАГе “Путешествие в страну Зе-Ка” Ю. Марголина.) Там же, в “Эдисьон дю Шэн”, вышла моя книга “Александр Блок и его время”, которую я написала прямо по-французски (русского издания никогда не было).

В 1966 г. совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм.

Н. Б.

Чайковский

История одинокой жизни

I

Говорили, что дедушка Андрей Михайлович Ассиер был эпилептик. Говорили, что болезнь эту он передал старшему своему сыну, впрочем умершему в молодых годах. Говорили, что он был человек способный, имел связи и образование, служил по таможенному ведомству и дослужился до “действительного”. Происходил он из французских эмигрантов и умер в тридцатых годах, оставив детей от двух браков.

Александра Андреевна, вторая дочь его, была девушка образованная, большеглазая и голосистая. Незадолго перед смертью отца она окончила Училище Женских Сирот, где обучалась риторике, арифметике, географии, литературе и языкам. Литературу в старшем классе читал Плетнев, тот, кому Пушкин посвятил “Онегина”. При выпуске и он, и ученицы его плакали. День выпуска из училища был днем слез, волнений и надежд: играли на арфах, пели

хором “Прощание” и молитвы, дарили друг другу сувениры...

Когда Илья Петрович Чайковский посватался к девице Ассиер, ему было сорок лет. Он был младшим сыном – двадцатым по счету ребенком – Петра Федоровича Чайковского, городничего Вятской губернии, приписанного к дворянству в самом начале прошлого века. В 1833 году Илья Петрович был уже вдов, с дочерью Зинаидой на руках. Воспитывался он в Горном кадетском корпусе, а затем был зачислен на службу, по департаменту горных и соляных дел, – в чине сперва шихтмейстера, потом берггешворена, гиттенфервальтера, маркшейдера, обер-гиттенфервальтера и, наконец, обер-бергмейстера. В чинах он, однако, не слишком преуспел и карьеры блестящей не сделал. Ум и способности заменялись в нем добросовестностью и благодушием.

Александра Андреевна ни знатностью, ни богатством прельстить его не могла, он женился на ней по любви. Она была стройна, моложе его почти что двадцатью годами, руки ее были удивительно хороши; она с чувством умела петь модные романсы. Впрочем, к музыке, как и к наукам, Илья Петрович был вполне равнодушен и рано забросил флейту, на которой играл в юности.

Дети пошли с третьего года. Первая девочка умерла еще в Петербурге. В 1837 году Илья Петрович неожиданно получил назначение: начальником Камско-Воткинского завода, на Урале. Определив Зинаиду в институт, он с женой отправился к месту своей службы и там оказался неограниченным властелином огромного, по тем временам, завода, обладателем большого комфортабельного дома, толпы прислуги, собственного войска в виде сотни казаков, маленького “двора” из местного дворянства, служившего на заводе. Стали жить гостеприимно, спокойно, откладывая про черный день; принимали у себя столичную молодежь, приезжавшую на практику, англичан-инженеров, осевших здесь совсем недавно. Семья росла: в 1838 году родился Николай, спустя два года – Петр (25 апреля), за ним – Александра и Ипполит; прибыли из Петербурга в помощь Александре Андреевне старушка-тетушка и племянница – старая девица. Дом населился, большой, теплый, уютный дом в Сарапульском уезде, вблизи огромного пруда, окруженный заводскими, казенными строениями; завод был сталелитейным, железоделательным, строились на нем суда, земледельческие орудия и даже – в последние годы – паровозы; отливались сталь, чугун, медь, делались рельсы и цистерны. Кама была в двенадцати верстах.

Дом наполнился детьми, челядью, постоянными гостями, и Александра Андреевна уже не пела романсы, не переписывала стихи о луне и страсти в свой бархатный альбом, – она рожала, кормила, солила огурцы, варила варенье, принимала гостей, держала недалекого мужа под башмаком.

Дом шесть месяцев в году бывал занесен снегом. Дети жили в мезонине. К Николаю приходил приятель его, Веничка, как и он, лет шести, да была еще девочка Лида, сиротка, племянница Ильи Петровича. Петю иногда тоже принимали в игру, бегали по двору, по саду, к широким воротам (в стиле сибирского ампира). Тишина. Снег. Ранние сумерки. Нянюшка Каролина и кормилица сторожат двух младших. Коля и Веничка меряются силами; Петруше попадает от обоих; Лида визжит, бросает в драчунов снежками...

Но довольно шалостей, нянек, веселого визгу на весь дом, – пора старшим учиться. Мать, забрав с собой Николая, собирается в Петербург, за гувернанткой. Путь долг – три недели до столицы. Через два месяца она возвращается. Сперва звенят бубенцы, потом слышно, как копыта бьют снег. К крыльцу заносит возок. И уже все на крыльце: и Илья Петрович, и четырехлетний Петруша, и няньки, и мамки, и добрая тетушка, от которой пахнет мятным пряником, и “сестрица” Настасья Васильевна, несносная и въедливая, от которой ничем не пахнет, и два пса, и кот, и слуги, – словом, толпа народу встречает на вечернем, синем холоду Александру Андреевну, Колиньку и тоненькую фигурку никому не известной особы.

– Это Фанни, – говорит Александра Андреевна, и Илья Петрович, до страсти любящий всевозможные умильные жесты, навертывание благодатных слез на глаза, сладко дрожащий голос, целует Фанни в лоб и говорит ей что-то прочувствованное о том, что он уже любит ее, как дочь, что она “вернулась домой”, а не заехала куда-то к волкам. И Фанни благодарит его, потому что она молода, одинока, родилась за тысячи верст отсюда, подле Бельфора, и никак не может произнести ни слова “Воткинск”, ни слова “Чайковские”.

Николай, Веничка и Лида устроили “класс”. Но не на них с первого же дня обратилось ее внимание. Она заметила тихого, немного странного и не очень опрятного мальчика, которому еще рано было учиться, но который просился к ней и не хотел отстать от старших. Александра Андреевна впервые заметила, что Петя, которому четыре года, не только шалит, любит сласти и боится темноты, но, ласкаясь к ней и плача, чего-то требует, чего-то хочет. Не вредно ли это? Но Фанни вступилась, французской грамоте и молитвам она стала учить

его вместе с остальными. Для русского языка к детям ходил господин Блинов.

Петя был тихоней, способным тихоней, и часто внушал Фанни некоторый страх своей тихостью, сообразительностью и каким-то очарованием, которое было в нем, несмотря на его нелюбовь к порядку, губке и мылу, на его вихры. Фанни полюбила его сама и научила Илью Петровича и Александру Андреевну любить его. Внезапно и тетушка заметила в нем что-то особенное – все чаще стала она открывать для него свой сундук со звоном, и оттуда в его маленькие, всегда испачканные руки переходили мятные бабы и всадники; даже “сестрица”, которая уже тогда отличалась заметной придурью, угадала в нем что-то большее, чем в других детях.

Утром шли уроки. Все четверо очень скоро постигли первую премудрость французского языка. Во время рекреаций устраивались игры – и Фанни была тут же, и участвовала во всем, следя за младшим и втайне любуясь им, его внезапными выдумками, постепенному подчинению остальных. Под праздник, в сумерках, Фанни собирала вокруг себя детей на большом диване, читала им вслух или заставляла их самих по очереди придумывать и рассказывать всякие истории.

Пьер фантазировал в стихах и в прозе, преимущественно на темы божественные и патриотические. Иногда, оставаясь с Фанни наедине, он объяснял ей в любви; рыдая, однажды он объяснился в любви отцу; о матери он говорил, как о ком-то богоравном. Казалось, сердце его разрывается от каких-то мучительных и сладких чувств – восторга, жалости – то к Жанне д’Арк, то к Веничке, то к котенку, то к Людовику XVII, дофину, историю которого он только что узнал. Он сильно чувствовал, выражался иногда чрезвычайно возвышенно и в тетрадках своих злоупотреблял восклицательными знаками.

Особенно вдохновляли его в то время мысли о величии России, о русском Боге, о русской природе. Он брал карту Европы, по которой Фанни учила его, целовал со страстью зеленое пространство от Варшавы до Воткинска и в сердцах плевал на остальное. Фанни остановила его: разве там, куда ты плюешь, люди не говорят Богу, как и ты, “Отче наш”? И если ты плюешь на Европу, то, значит, ты плюешь и на меня?

Он поднял на нее бледное, курносое лицо: не браните меня, милая Фанни, сказал он, ведь я прикрыл ладонью Францию...

Но стихи его, и французские, и русские, были из рук вон плохи, и никак нельзя было назвать его будущим Пушкиным:

О, Ты, Бессмертный Бог Отец!

Спасает Ты меня!

И затем он сам же себе переводил:

Eternel notre Dieu et c'est

Toi qui a fait tout cela!

Это были попытки высказать свое недоумение, свое восхищение перед миром и его творцом, а главное – это была дань, которую он отдавал жажде себя высказать. Иногда она выливалась в страшных ночных слезах.

Но это восхищение и мучительное желание его выявить, эти слезы давали пятилетнему ребенку какое-то странное счастье. Этому отчасти была причиной сама жизнь, тот добрый воткинский воздух, которым он дышал дома, где все его любили и где он всех любил, где дети и Фанни жили своей отдельной, веселой и трудовой жизнью, в низких, просторных комнатах мезонина. Летом, после раннего обеда, подавался “детский” экипаж, и Фанни ездил с Николаем и Пьером кататься. Зимой, когда с шести утра шли уроки, под вечер катались на саночках с горы, на берегу пруда. Фанни, обученная новым методам педагогики, хотела, чтобы мальчики делали по утрам гимнастику, но Петя это не любил, а Николай ленился: он уже тогда был красив и строен, долго причесывался перед зеркалом и мечтал научиться танцевать.

Когда приехала окончившая институт Зинаида, Фанни с гордостью представила ей ее сводных братьев, которых она до того никогда не видела: Николаю было восемь лет, он обещал быть кавалером хоть куда. Петя рядом с ним выглядел невзрачным. Он все старался уцепиться за юбку то матери, то Фанни. Был сочельник, Зинаида приехала откуда-то из Петербурга, за ней в дом вошло морозное облачко, в этом облачке она и осталась, сама воздушная, с осиной талией; с нею вместе вошли в дом всякие петербургские новости, секреты,

какие-то новые игры для взрослых, девичьи шепоты и вскрики – особенно когда в гостях бывали молодые люди; в доме началось совершенно феюное времяпровождение каких-то незнакомых барышень – Зининых подруг.

А ему все хотелось писать и писать, заявлять вселенной о чем-то, его душившем, чему он никак не мог найти настоящего выхода.

Tes ailes dorees ont vole chez moi,

Ta voix m'a parle, —

и затем, по-русски:

Господи, дай мне доброту,

послушание и безгрешность.

И Фанни внимательно, молча смотрела в тетрадь, поверх его руки, и никак не могла решить: поправить ему ошибки или оставить его в покое, потому что было в нем что-то, что вдруг могло разбиться от неосторожного прикосновения. Недаром она называла его “стеклянным мальчиком”. Она читала эти кривые, неровные строки, и ее тянуло к нему – нежностью и любопытством; ей было страшно чего-то. Она еще не решила: сказать или не сказать Александре Андреевне о том, что в последнее время ей приходит в голову касательно Пьера, что ее беспокоит. Какие-то предчувствия...

И потом эта оркестрина, вывезенная Ильей Петровичем из столицы! Недавно Пьер стоял за дверью и слушал, приложив по-взрослому руку к сердцу. Видно, оно шибко колотилось у него в груди.

Это была единственная музыка в доме, и он услышал ее.

II

Оркестрина, вывезенная из Петербурга, – последнее слово музыкальной механики – звучала отлично. В доме не было музыкантов – ни флейта юности Ильи Петровича, ни приятный голос Александры Андреевны не оставили по себе к этому времени никаких воспоминаний. Фанни к музыке была глуха, – вся ее

чуткость относилась к телесному и душевному росту детей. Иногда в доме звучали бойкие польки или другие танцы, сыгранные каким-нибудь добрым гостем, – в доме, как во всяком порядочном доме, был рояль. Никто из живых так не тронул сердце Пьера, как неодоушевленная оркестрина. Он прислушивался к ней сперва бессознательно... Внезапно он услышал “Дон Жуана”. Это была ария Церлины.

– На всю жизнь!

Он почувствовал слезы, тоску, счастье. Ему в это время не было еще пяти лет.

Валов в органе было довольно много, были отрывки из опер Россини, Беллини, Доницетти. Самый звук уже волновал его, но когда начиналось “Vedrai, caro”[2 – “Видишь, миленький” (итал.) – ария Церлины из оперы В.А. Моцарта “Дон Жуан” (II д., № 19).], он был охвачен тем “святым восторгом”, из которого через двадцать лет выступили, быть может, его первые творческие восторги. Он бывал так взволнован, что Фанни схватывала его на руки и уносила наверх. Но там он продолжал слушать – уже неслышную – музыку, перебирать пальцами в воздухе и мутными глазами смотреть вокруг себя.

Мать первая подвела его к роялю, показала ему гамму, положила руки на клавиши. Он подобрал арию Церлины: все собрались слушать, и много по этому поводу было удивления и смеха. У Пьера был слух, Фанни была взволнована больше всех: теперь уже не Александра Андреевна, но она спрашивала себя: не вредно ли это? Но оторвать его от рояля было уже невозможно, а когда его оттаскивали от инструмента, он продолжал барабанить по столам, по диванам, по оконному стеклу – и однажды, ударив какое-то форте, разбил окошко, поранил до крови руку и был наказан.

Но эта кровь навела Илью Петровича на некоторые размышления. На Боткинский завод была приглашена Марья Марковна Пальчикова, – это случилось год спустя после приезда Фанни.

Марья Марковна была из крепостных и грамоте обучалась на медные деньги. На медные же деньги выучилась она и музыке, но стеснялась играть при посторонних и в обществе чувствовала себя неловко. Три года она являлась обучать Пьера музыке. Он давно уже умел разбирать ноты лучше нее, но они сдружились. Что она играла ему и что он играл ей, – неизвестно. Фанни ревниво

следила за этими уроками. Минутами она приходила в отчаяние: неужели ее любимый мальчик будет в конце концов музыкантом, а не полководцем, не министром? Она умоляла Пьера поменьше думать о музыке. Уроки – куда ни шло, раз приходит Марья Марковна. Но в свободные часы есть другие развлечения (и чего только не выдумывала она, вплоть до фейерверков, до маскарадов!), – уж если ему так хочется быть непременно “артистом”, то пусть пишет стихи. Может быть, он все-таки станет Пушкиным?

Фанни говорила так не только потому, что она музыку не любила и не понимала. Музыка слишком сильно действовала на Пьера, особенно когда он “фантазировал” на рояле. Ночные слезы повторялись все чаще. Он кричал в бессонницу: “О, эта музыка, эта музыка!”

– Ничего не слышно, никакой музыки нет, – отвечала Фанни, прижимая его к себе. Но он решительно больше не мог вытерпеть этих, одному ему слышных, звуков.

– Она у меня здесь, здесь! – кричал он, рыдая и хватая себя за голову. – Она не дает мне покоя.

Но сквозь эти детские бессонницы, сквозь трудности наполненных уроками, прогулками и играми дней на него теперь все чаще находила какая-то горделивая радость, словно он что-то решил про себя, что-то искал, долго, очень долго – ему казалось, не год один, а много лет, потому что шестилетняя память уходила в глубину и темноту неизвестного, – искал и нашел, озарил какой-то темный угол в себе. Его слушали. Он мог этим странным, звучным языком рассказывать о себе наконец по-настоящему, не заботясь о рифме или грамматической ошибке, – он чувствовал, что этот язык поймут и отец, и мать, и дети, и Фанни, – но главное не то, чтобы они его поняли, главное – самому высказаться на нем.

И еще через год, на святках, он уже присутствовал на вечере, с Николаем и Лидой, среди взрослых гостей: весь Воткинск был у них в гостинной. Воткинские дамы выписывали из Москвы парижские туалеты – одевались со вкусом; многие были молоды и хороши собой. Лучше всех, как всегда, была жена помощника лесничего, Петра Ипатьевича Романова, молоденькая англичанка Гарриет-Катерина, дочь Джеймса Карра, установившего на заводе едва ли не единственный в те времена в России паровой молот.

Заезжий офицер, поляк, музыкант, красавец Машевский, после танцев и игр и живых картин сел к роялю и сыграл мазурки Шопена.

Что это было? Это была дрожь, сохранившаяся (вместе с “Церлиной”) на всю жизнь. Это было блаженство, равного которому он до сих пор не знал. Он рос. Он научился наслаждению, таинственной, перехватывающей горло радости.

А когда Машевский через полгода опять вернулся в Воткинск и опять забряцал шпорами в гостиной, засиял ослепительно любезной улыбкой перед дамами, Пьер, кстати, носивший в то время еще клетчатые платица с юбкой в складку, сел за рояль и сыграл ему те две мазурки, которые тот играл на святках. Машевский поднял его на воздух, расцеловал пахнувшую, как у всех мальчиков, птичьими перьями голову...

С этого дня Фанни стала собирать исписанные Пьером клочки бумаги, его старые тетрадки, какие-то залитые чернилами черновики: она думала, что все это может когда-нибудь пригодиться, лет через пятьдесят, когда она будет древней старухой и вернется во Францию, а он будет пожилым и знаменитым господином! Кто знает! Тем более что в скором времени ей угрожала разлука с ее питомцами.

В сентябре 1848 года воткинской жизни пришел конец. Еще в феврале Илья Петрович вышел в отставку с пожалованием ему пенсии и чина генерал-майора. Он думал о частной службе, об управлении заводами наследников Яковлева в Алапаеве, а пока что надо было ехать для переговоров в Москву и Петербург, да и Николая пора было определить в учебное заведение. При обоих младших была бонна, Фанни становилась ненужной, и она это сама отлично понимала. Она перешла к помещикам Нератовым и в день отъезда Чайковских из Воткинска, рано утром, когда дети еще спали, выехала со своим сундучком со двора. Она не хотела ни их слез, ни своих собственных. Она увозила с собой “музей Пьера”, который решила сохранить, пока будет жива, ей казалось, что она непременно когда-нибудь с ним встретится.

В предотъездных хлопотах дети едва успели заметить ее отсутствие. Забежала проститься Марья Марковна, тетушка и “сестрица”, оставшиеся в Воткинске, заливались слезами. На первой же остановке – в Сарапуле – Пьер непременно захотел написать Фанни, но от горя сделал столько “чернильных ташей”, что письма не послал.

Москва встретила их холерой, от которой едва не умерла молоденькая бонна Ипполита и Саши; дела пошли не так гладко, как предполагалось; Александра Андреевна бывала в бегах весь день, и за детьми смотрела Зинаида. Наконец прибыли в Петербург. Был уже ноябрь месяц. Квартиру сняли на Васильевском острове – целый день обнимались с давно не виданными родственниками, Чайковскими и Ассиерами, показывали детей, умилялись. Одиннадцать лет отсутствия разбудили горячие родственные чувства, особенно в Илье Петровиче, который к старости становился все более чувствителен.

Но Петербург для Пьера оказался не столь счастливым, как для родителей, Зины и Коленьки. И его, и Николая отдали немедленно в пансион Шмеллинга, и это было так непохоже на то, чем он жил до сих пор, что он и сам как бы спешил измениться. Надо было драться с товарищами – он дрался, надо было выводить учителей из терпения – он с удовольствием выводил. Учебный год был давно начат, надо было догонять класс, при полном безучастии окружающих. С восьми утра до пяти вечера просиживали мальчики в пансионе, а вечером готовили уроки в темноватой и тесноватой квартире в доме Меняева, до самой полуночи. Оба к Новому году исхудали и вытянулись. А тут еще настоящие, серьезные уроки музыки с учителем Филипповым, первые преодоленные пианистические трудности... Это – сон? И он проснется в Воткинске, в снегах, рядом с Фанни, в детской, под лампадой. Но он не просыпался. На Рождество его повезли в театр. Нет, это было слишком, этого нельзя было вынести – опера и балет довели его до галлюцинаций. Он ходил ощупью, он опять не спал. В первый раз услышанный симфонический оркестр потряс его до основания. На несколько дней он лишился памяти. Это безумное счастье, которое давалось ему звуками, этот страх, эта тоска ломали и переделывали его, ничего не оставляя от нежного, странного ребенка, выносили его, мучительно и волнующе, в большую жизнь. Бывали дни, когда он все бросал, в жару непонятной болезни, бредил, капризничал, рвался куда-то.

И внезапно сорокаградусная корь сразила его и как бы провела навечную черту между детством и отрочеством – между бессознательным и сознательным существованием – от этой болезни остались на всю жизнь необъяснимые страдания спинного мозга, какие-то припадки, – гениальное, больное и печальное наследие дедушки Ассиера.

Все занятия были запрещены, музыка остановлена. После праздников, определив старшего в Горный корпус, Илья Петрович и Александра Андреевна с детьми выехали на завод наследников Яковлева, в Алапаев, и там, в глухом

медвежьим углом, уже без боткинского блеска, без боткинской домовитости, без Воткинского патриархального счастья потекла жизнь.

Учился он теперь у Зинаиды, которую любил все меньше, бывал иногда нестерпим; то зол и упрям, то приторно фальшив, ревновал всех к Коленькиным письмам (учится блестяще, ведет себя примерно) и изливал душу в письмах к Фанни, которые, впрочем, рвал и прятал, а отсылал другие, исправленные Зинаидой, в которых сообщал, что старается побороть свои недостатки, как то: лень и строптивость; что у Nicolas по всем предметам – двенадцать с крестиками.

В это время он впервые стал играть “для себя”, в те минуты, когда ему особенно становилось грустно. Источник этой грусти он ни тогда, ни потом не старался угадать. В то время ему бывало грустно и от раннего одиночества, и от плохих отметок, и от того, что Петербург, с его настоящей великой музыкой, промелькнул так неповторимо, и от того, что его музыки начинают бояться старшие – бояться за его здоровье, за его будущее.

Он теперь старался не слишком часто говорить о том, что больше всего в жизни его волнует и очаровывает. Он научился даже скрывать свою чрезмерную страсть к звукам. У него завелись тайны – как мечь окружающему равнодушию. Он сочинял – не стихи, с этим навсегда покончено, – музыку, и не любил говорить об этом.

Но на него в тот год мало обращали внимания: Зинаида готовила его в Горный корпус, у Александры Андреевны родились близнецы, Саша и Ипполит уже учились грамоте; Илья Петрович не бог весть как ладил с наследниками Яковлева... Пора было Пьера везти в Петербург. Клетчатые платица заменила Александра Андреевна длинными брюками и темной курточкой. Она не догадывалась о том, что у ее второго сына есть уже опыт страданий и размышлений. Ей казалось, что надо, как можно скорее и жесточе, глушить его “впечатлительность”, его “раздражительность”...

Они приехали в Петербург в начале августа – Александра Андреевна, Пьер и Саша. Пьеру не было еще и десяти лет. Любимец семьи, Коленька, в Горном корпусе и по манерам, и по наукам был первым, и в Горный корпус решено было сначала отдать и Петю. Но Александре Андреевне родные и знакомые в первые же дни прожужжали уши о новом училище: его только что кончил Платон Вакар, блестящий молодой человек, брат старинного друга семьи – Модеста

Алексеевича Вакара, в честь которого Чайковские окрестили одного из своих близнецов. И Модест Алексеевич, и Платон – тогда лишь начинавший свою карьеру в министерстве юстиции – уговорили Александру Андреевну, и Петрушу отвезли на Фонтанку, дом 6.

Он был подготовлен вполне и выдержал вступительный экзамен одним из первых – не в самое училище, но в младшее пригготовительное его отделение. Ему в те дни сшили курточку с пуговицами – вместо “настоящего” правоведского воротника, как полагалось пригготовишкам, выпустили на курточку мягкий отложной и отправили в класс. В первую неделю он слегка потерялся от товарищей, от знакомства с классным самодержцем, мосье Бераром, от внезапного соседства с “настоящим” учением, – директор-то был один, и вообще один был дух, и близость к взрослым мальчикам, учившимся уже совсем “по-настоящему”, придавала всему какую-то нешуточность, – все было непохоже на пансион Шмеллинга, куда его отводили в складчатой юбочке (теперь об этом стыдно и вспомнить!). На воскресенье Александра Андреевна брала его к себе, на неделе она заходила его проведать. “Вот Коленька, – говорила она, прижимая его к себе, – давно свыкся. И тебе стерпится, Петруша”. Она догадывалась, что подготовить его к разлуке не удастся, что ее отъезд в Алапаев будет для него непереносим. “Вот Коленька, – повторяла она, – умный мальчик. Он учится, он радуется папашу”.

В середине октября она собралась в обратную дорогу. Хотя недели две уже морозило, но санного пути еще не было. Были наняты тарантасы. В них уселись Александра Андреевна с дочерью и провожающие – дальний свойственник Илья Карлович Кайзер и оба мальчика. Уезжающих по московской дороге в те времена был обычай провожать до Средней Рогатки.

Петя старался не плакать – слезы мешали ему смотреть на мать. Он помнил всю жизнь, что никого так не любил, как ее, в тот именно октябрьский хлопотливый день. Он всхлипывал, сидя у Кайзера на коленях, не спуская с матери глаз. Он не думал о конце путешествия, о том, что будет, когда тарантасы разъедутся. Погода была осенняя, туманная, холодная. Ватная шинелька казалась тяжелой плечам, ноги путались в ней. Короткий день подходил к концу, хоть по часам было и не поздно.

Тарантасы остановились у полосатого верстового столба. Все сошли в грязь, подмерзшую по краям дороги. Навстречу, в Петербург, шел длинный обоз, тяжелое небо спускалось на московскую дорогу, на придорожные строения

каких-то складов новенькой красно-кирпичной фабрики.

В широкую, в оборках, юбку матери Петя вцепился обеими руками. Он в ту минуту хотел врасти в мать, соединиться с ней телесно навеки. Она простилась с Колей, с Кайзером, и тут все трое, и даже Сашенька стали отрывать его от материнской юбки. Возницы на козлах равнодушно ждали. Свободной рукой он ухватился за бархатную тальму и оборвал какую-то кисточку (кисточки на Урале были у дам в большой моде). Кайзер схватил его на руки, он закричал не своим голосом, так что лошади шевельнулись.

Александра Андреевна и Саша быстро уселись, возница тронул вожжи. Петя, вырвавшись из рук Кайзера, бросился за колесами. Он давился слезами, старался протянутыми руками поймать убегающую подножку, широкое, не по нем, крыло. Земля внезапно подвернулась к нему, и он упал, не сдаваясь, все крича и плача. Кайзер поднял его и крепко сжал. Тарантас был уже далеко, прыгал по выбоинам дороги; сбоку видно было, как машет платком Сашенька...

Он вернулся домой с твердым намерением: он будет ждать. Всю остальную жизнь он отодвинет с этих пор, будет помнить только о матери, считать дни, месяцы, годы. Он понимал, что с ним произошло там, у Средней Рогатки, такое, чего не забудешь во всю жизнь.

Но жизнь, установленная Модестом Алексеевичем и Александрой Андреевной, постепенно подчинила его себе. Это было невесело. В класс ходил небольшого роста, бледный, скучный, нехотя старающийся мальчик. “Чайковский!” – малодушные глаза, скорые на слезы, взгляд исподлобья, будто он ищет: неужели в целом мире никого не найдется, кому можно было бы пожаловаться на грубую жизнь, на одиночество, на сирость, у кого можно было бы расплакаться, к кому тепло было бы прижаться? Слегка презирая его за слезливость и тихость, его любили, его жалели: и Шильдер-Шульднер, воспитатель, и Василий Мартынович Гоббе, который иногда приводил его к себе домой, и сам Берар, в конце концов пораженный этой постоянной тоской, сам того не замечая, делал для Пети какие-то исключения.

“Милые и прекрасные мамаша и папаша! – писал он. – Мои прекрасные ангелы, целую ваши ручки и прошу благословения!” “Помните ли, милая мамаша, как я в тот день, как уезжал, посадил плющ? (здесь бумага взмокает). Посмотрите, пожалуйста, как он растет?” “Я вижу, что Коля гораздо тверже меня характером, потому что он не так скучал”. “Ах, мои чудные, прекрасные...”

Растравляя себя в письмах, он старался перед товарищами быть как все. О музыке он вспоминал редко; иногда – чтобы сделать приятное товарищам, среди которых он еще никого не выделял, ни с кем не сблизился, он садился к роялю. Вспоминался Алапаев, особенно почему-то при “Соловье” Алябьева – доиграть его до конца он никак не мог, – мать подпевала ему тогда, сидя у себя перед пальцами, дверь из гостиной бывала открыта, за тяжелыми коврами занавесками в окне лежал сибирский снег... Мальчишки слушали и посмеивались. Он играл им польки, они танцевали друг с другом.

Семейство Модеста Алексеевича состояло из него, жены Надежды Платоновны и двух сыновей – Виктора и Николая, “настоящего ангельчика”, как называл его Петя в письмах. На воскресенья Модест Алексеевич брал Колю и Петю к себе, на семейный отдых. Но едва уехала Александра Андреевна, как в Горном корпусе случилась свинка, и Николай застрял в карантине. Он еще не появился, когда в одном из подготовительных классов Училища правоведения объявилась скарлатина.

Модест Алексеевич сильно обеспокоился. Оставить Петю в училище на неопределенный срок ему казалось слишком жестоким, он знал, как тот тоскует и что для него значат воскресенья. Его заботило и то, что Николай, оставленный в карантине, в конце концов заразился свинкой. Пете болеть скарлатиной было никак нельзя. Ученикам было предложено или выехать немедленно, или остаться. Модест Алексеевич в тот же день перевез Петю к себе в дом.

Ему казалось, что “страшная тоска” Пети пройдет, что, может быть, этот перерыв в училищной жизни – к лучшему. Прошло несколько тихих безмятежных дней. И внезапно Коля Вакар заболел скарлатиной.

То, что он занес болезнь в дом, и то, что он в этом виноват не был, то, что никто не упрекал его, и все знали, что если бы не он, этого бы не случилось, – впервые открыли ему несправедливость, бессмысленность жизни и поразили его. Ему было десять лет. Коле было пять. Явилась мысль: заболеть должен был я; я – взрослый, большой, я уже видел и слышал на своем веку такие прекрасные вещи: балет-феерию, симфонический оркестр, “Жизнь за царя”. Что ж, если за них надо расплачиваться! Обезумевшая Надежда Платоновна находила время уверять его, что это “ничего”, что у Коли “нервическая лихорадка”. Он молился за дверью в детскую. О, если бы здесь был хоть Николай, чтобы разделить с ним его ужас! Но Николай был далеко, у него была смешная болезнь – свинка. А тут

из-за него, Пети, умирал Коля Вакар.

Он умер ночью; в доме никто не спал; маленький труп лежал на кровати, и Петя стоял и смотрел на него, не умея соединить в одно убедительное целое Фаннины рассказы о душах, отлетающих в небо, в легких одеждах, под ангельское пение, и эту бессмысленную вину свою, это непоправимое горе. В ту ночь он в первый раз почувствовал незримую силу, побывавшую так близко от него, разрушившую что-то. Он впервые узнал ее тень, ее след, и его тоска и грусть, все его десятилетнее сердце потянулись по этому следу; и страшно, и сладко, и отвратительно, и утешно было то, что в мире этом, кроме жизни, существовала еще и она.

Он ждал отца и мать к февралю, но они не приехали. К весне попечения Модеста Алексеевича сменились попечениями некоего Ивана Ивановича Вейца – тоже приятеля Ильи Петровича – и Платона Вакара. Петя ждал. Из Алапаева никто не ехал. В апреле воспитанников пригласительных классов повезли на детский бал в Дворянское собрание – он увидел Николая I, “так близко, как папаши диван стоит от его конторки в кабинете”. Наступило лето. Платон Алексеевич поселил его у своей тещи на даче, под Петербургом. Он все ждал. Никто не мог бы сказать теперь, что он учится хуже Коленьки, что он вообще не примерный, не послушный мальчик. Приближалась осень. Он просил в письмах, он умолял приехать.

В начале сентября Илья Петрович приехал – побыл недели три, вывез сыновей в театр, накормил конфетами и, озабоченный делами, вернулся в Алапаев. Петя не успел опомниться. К январю отец обещал приехать со всей семьей. Но и в январе никто не приехал, и в марте тоже. Петя несколько раз был оставлен без отпуска. В Вербную субботу Платон возился с ним весь день, гулял с ним на вербе, покупал ему все, что понравится. С Платоном Алексеевичем ходить было очень интересно: Платон Алексеевич знал пол-Петербурга, особенно писателей. Петя решил, когда вырастет, во всем будет на него похожим.

“Мои драгоценные купидончики!” – писал он родителям в Алапаев, сообщая им, что в этом году переходные экзамены сойдут, верно, не так гладко, как в прошлом. В этом году он из старшего пригласительного переходил уже в “настоящий” класс.

Только в мае Илья Петрович со всем семейством переехал в Петербург. Он оставлял службу: у него была пенсия и скопленный на Урале довольно солидный

капитал.

III

В доме оказались три барышни: сестра Зина, Лида Чайковская и кузина Аннет; в доме появились взрослые кавалеры, зазвучали польки, вальсы, закружились юбки, забряцали шпоры. И под это были сданы экзамены, наступили каникулы. Петя и Коленька переехали домой. Дом теперь был на Черной Речке – просторная русская дача, снятая до осени. Какое это было счастье! Мать – рядом, опять можно, в случае чего, уцепиться за ее юбку, отец – седой, добрый, мягкий, где-то здесь же, близко; кругом – братья, сестра, кузины; два смешных близнеца уже ходят, и ползают, и учатся говорить. Ковчег, а не дом, где чувствуешь себя огражденным от враждебного мира, каких-то диких и обильных превратностей. И вот начинаются шалости:

К соседке-польке ходит усач. Аннет и Петя лезут через забор. У польки целое стадо индюшек, индюшки не выносят дуэтов. Аннет и Петя заводят дуэт, птицы гогочут.

“Видишь ли ты эту лодку”, – тянет Аннет, и Петя ей вторит. И вот в окне появляется усач, слегка растрепанный, в расстегнутом кителе. Дети бегут с хохотом, с визгом из чужого сада.

А вечером светит луна, и в окне верхнего этажа появляются три воздушные тени – три барышни. Они, обнявшись, сидят на подоконнике, старшие давно спят. Щелкает соловей, пахнет цветами. Они поверяют друг другу сердечные тайны: у Аннет все еще очень туманно, ей нравятся сразу трое. Те две шепчутся о братьях Ольховских. Внизу на балконе что-то подозрительно потрескивает – и вдруг вбегают Петя: тише! тише! Под окном Николай с товарищем – оскорбленные кавалеры, которых ругают молокососами. Они подставили лестницу и подслушивают девичьи секреты. И вот уже берется большой фаянсовый кувшин с умывальника, полный холодной воды, и с шумом опрокидывается в окошко. Внизу крик, вверху – смех. И Петю награждают звонкими поцелуями.

В то лето он был очень жив, худ и нервен. Источником покоя его была мать. К фортепиано подходил он с чувством странным и двусмысленным, словно хотел сказать: с этим инструментом у меня сильно запутанные отношения. Они,

кажется, еще далеко не кончены. Они, может быть, когда-нибудь возобновятся. В прошлом отношения эти были очень близкие, они и теперь меня волнуют, когда я о них вспоминаю. Но сейчас мне вам сказать нечего, милый друг... Впрочем, если барышни хотят потанцевать, то отчего же и не доставить им некоторого удовольствия?

Никто не напоминал ему его прежней игры, его бессонниц; мать считала, что вредная для здоровья страсть с возрастом прошла, – теперь пошло все другое: математика, латынь. Он ничего не говорил ей сам, раз навсегда, еще в Воткинске, решив, что музыка и он – это тайна, которую никому открывать не следует. Но сейчас он мало о музыке думал, его мальчишеская жизнь с осени вновь входила в свою колею: шесть скучных будних дней перебивались пестрым, веселым воскресеньем, когда его брали домой. Иногда, на неделе, из окна большого дортуара шестого класса ему удавалось видеть мать, проезжавшую на извозчике к своей сестре, жившей окна в окна с училищем. Она посылала ему сквозь вуаль один долгий воздушный поцелуй.

Холера встретила Чайковских при их первом приезде из Воткинска. Холерой заболела Александра Андреевна летом 1854 года, и холерой же заболел Илья Петрович в день похорон жены. Она умерла 13 июня. Всего несколько месяцев прошло, как обвенчали Зину с младшим Ольховским и проводили их на Урал, и вот уже Лида была помолвлена со старшим братом.

В те времена холерой болели многие, эпидемию сменяла эпидемия, слабея на короткое время. Невская вода разливалась по графинам и умывальникам, как и сорок лет до этого, как и сорок лет спустя. Но надежды на спасение доктора не теряли. Александру Андреевну лечили, как умели; три дня прошло, как, казалось, миновала всякая опасность, затем больную посадили в ванную, и в тот же день под вечер началась агония.

Она не успела перекрестить детей, проститься с мужем, но когда она причащалась, какой-то проблеск сознания на мгновение отразился в ее чудесных темных глазах. И затем все было кончено: кончена была ее жизнь, и на этом окончилось детство Пети. Шесть детей, из которых старшему было шестнадцать лет, шли за гробом. Отец их был при смерти.

Надо было обдумать, как жить дальше. Двух старших вернули в классы, Сашу и Ипполита спешно рассовали по закрытым учебным заведениям. Илья Петрович, взяв двух четырехлетних своих близнецов, сильно подавшийся, растерянный,

переехал жить к брату.

Брату его, Петру Петровичу Чайковскому, в это время было под семьдесят. Он ходил “под француза”, ноги его были прострелены, грудь разукрашена орденами. При нем было семейство: жена, пять дочек, три сына; ходил он на костылях, вид имел грозный и костылем нередко замахивался на засидевшихся у дочек гостей. Сюда приходил в ту зиму Петя из училища, не узнавая в воскресной толпе хозяев и гостей отца, притихшего и потерявшегося, немного боясь этого дяди, побывавшего в пятидесяти двух сражениях и до позднего своего брака прожившего иноческую жизнь.

Он выходил из своего кабинета, где писал мистические трактаты, складывая их к себе в стол и никого не донимая ими, он выходил обыкновенно в самый разгар воскресных “пти же”, танцев или домашнего спектакля, и принимался тушить свечи могучим своим дыханием, давая знак, что пора расходиться. А поутру он уже занимался своим любимым делом: брал с собой сласти и выходил на прогулку. Перед каждым встречным ребенком он останавливался, опираясь на свой костыль, совал ему пакетик, говорил: “Посылка с неба” – и отходил. Его на Васильевском острове хорошо знали, и многие кланялись ему еще издали.

Сюда приходил Петя. Старшая из пяти дочерей была его веселая кузина Аннет, и с ней затевали они, как в то полное счастья и беззаботности лето, всевозможные шалости. Здесь быстро пролетали воскресенья, возвращая его снова к урокам, учителям и товарищам, к однообразному строю училищной жизни.

Впрочем, некоторый дух “гуманности”, чего-то свежего и, может быть, свободного, в эти годы уже начал проникать в стены Правоведения. И прежде всего – бывший полицеймейстер, генерал Языков, прекратил свои обидные порки, когда воспитанников ставили “покоем”, а в середину “покоя” ставили скамейку, и служитель, спустив с мальчика штаны и исподнее, производил позорную экзекуцию. Истерический генерал то грозно приговаривал к карцеру, к “хлебу и воде”, то вдруг, прослезившись над чем-нибудь, мямлил голосом старой девы, думая, что такими оригинальными переходами своего генеральского настроения он отдаленно напоминает самого Суворова. Молодые дворяне взирали на него с беспокойством и отвращением. Учителя его боялись.

Но с самими учителями у учеников не завязывалось никаких отчетливых, длительных отношений. Были среди них добрые, были и свирепые, но почти все отличались казенной серостью, а если и были люди выше среднего, то на

педагогическом поприще своего гения отнюдь не проявляли. Был ехидный батюшка, громивший с пафосом итальянскую оперу, но сумевший каким-то чудом внушить Чайковскому любопытство и любовь к православному богослужению; был француз, обожатель Расина и сам неудачный трагик. Большинство из них относились к Пете благосклонно – даже математик, несмотря на то, что математика всегда была и осталась для Чайковского наукой таинственной во всех отношениях. И когда один-единственный раз у него вышла алгебраическая задача, он был настолько поражен, что сам себе не поверил, от радости бросился обниматься с товарищами, точно в Светлое Христово Воскресение.

Первые годы одиночества прошли, страх сменился привычкой. Из окружавших сверстников постепенно стали выделяться товарищи – еще не было среди них одного, единственного, незаменимого: с этим приятно было бегать по субботам в оперу, с другим готовиться к экзаменам в Летнем саду, запихивать до следующего дня карандаши и книжки в дупло старого дерева, потом отыскивать все это; третьему уютно было читать кое-какие страницы из дневника, который назывался “Все”; с четвертым обсуждался ближайший номер “Училищного вестника”... И вдруг все эти Масловы, Герарды, Адамовы были отставлены. В классе появился некто, кто сразу стал центром, божком, не только сверстников, но всего училища. И в его блестящей, искрящейся орбите завертелся Чайковский, наравне с другими.

Ему предшествовала слава. Говорили, что он пишет стихи, что знаком с Тургеневым и Фетом, отметившими этого мальчика и его дар, обещавшими ему славу Пушкина. Сам принц Ольденбургский покровительствует ему и пишет ему собственноручные письма. Леля Апухтин, с первого дня любовь и гордость генерала Языкова, перешагнув через класс, рассыпая вокруг себя искры таланта, остроумия и дерзости, в 1853 году очутился в одном классе с Чайковским.

Его наивной вере в добро и справедливость, его нежности, чувствительности, жалости к себе и людям, тоске по матери, скрытой поэзии дневников и раздумий Апухтин, которому тогда было, как и Чайковскому, тринадцать лет, противопоставил свой едкий ум, насмешку, демонические сомнения в том, что преподносилось временем как истина; он явился как соблазнитель, как старший; ему было многое знакомо, о чем Чайковский еще и не догадывался; он был зрел в суждениях и вкусах, способности его были исключительны, он был избалован семьей и всеми теми, с кем он встречался; он уже умел ненавидеть, презирать,

мстить; он видел перед собой широкий путь к всероссийской славе и был уже знаменит.

Все, что до сих пор было свято для Чайковского, понятие о Боге, отроческая любовь к ближним, уважение к старшим, – все это вдруг было осыпано насмешками, подвергнуто подозрительному анализу, поколеблено навеки с такой бесстыдной смелостью и пленительным своеобразием, что Чайковский почувствовал, что весь он, со всеми своими мыслями и чувствами, меняется у себя на глазах – от одного утра до другого. Он набросился на чтение. Дома, у Ильи Петровича, были книги. В короткое время он перетаскал их все – он был неряшлив, беспорядочен и стал за этот год еще нервнее. Как будто почву вышибли у него из-под ног: в конце концов незыблемого в мире не осталось ничего: все было расшатано Лелей, его язвительностью, его неверием, его пессимизмом.

Рядом с ним Чайковский казался мальчиком средних способностей, располагавшим к себе какой-то безобидностью, бесцветностью. На уроках он не спускал глаз с Апухтина, сидевшего рядом, с его болезненного лица, с его почему-то вечно подвязанной щеки. Кто кого научил курить? Они бегали в конец коридора. Это было не смакование медленного удовольствия, не запретная забава, а необходимое и спешное удовлетворение острой потребности в наркозе, и этим курение для них осталось на всю жизнь.

Чайковского не сажали в карцер, не пороли; он был во втором десятке учеников – милостивый, добродушный, он чувствовал сам, что делается суше, упрямее, мрачнее под влиянием Демона, сидевшего с ним теперь на одной парте. Ночами в дортуаре они шептались до полуночи (их постели стояли рядом), у них были на всю жизнь схороненные от других тайны. Они любили друг друга, один – с оттенком покровительства и власти, другой – с завистливой тревогой: у Апухтина все было ясно, это был уже сложившийся человек, с талантом, с будущей славой. У Чайковского – все темно: в зыбкой и трудной жизни дрожал он, напуганный ее многообразием и сложностью, и впереди не было ничего, кроме тусклой карьеры чиновника министерства юстиции.

Не только в сравнении с Апухтиным он был средних способностей. Его исключительность, когда-то, в раннем детстве, прельстившая Фанни, сейчас исчезла. С кузинами он любил подшучивать и в шалостях бывал изобретателен; в училище, кроме курения, за ним не числилось проступков. В минуты веселости, молодого озорства он вспоминал о музыке, он хватал полотенце, закрывал им

клавиши и – через полотенце – жарил что-нибудь дикое или терзал училищную фисгармонию. Но в минуты грусти он о музыке не вспоминал.

Он как будто боялся, что кто-нибудь может всерьез принять его музыку, ему было стыдно за то настоящее, что он когда-то, пригостишкой, рассыпал перед товарищами. Он с восторгом и вместе с каким-то неловким чувством слушал, когда Апухтин декламировал тут же, в рекреационном зале, с пафосом:

Я знал его, любви тяжелый бред!

С неясными порывами страданья!

Со всей горячностью незрелых лет!

Со всей борьбой ревнивого терзанья!

С Адамовым он бегал в итальянскую оперу. Это он очень любил. О том, чтобы играть “для себя”, в эти годы не было и речи, – все, что когда-то проснулось в нем при звуках Моцартовой арии, сейчас спало летаргическим сном, и он не мог, да и не хотел этого будить. Вот петь необыкновенные, фиоритурные вокализы, это он мог, или изображать Бозио, Тамберлика, Дебассини, Бернарди в “Вильгельме Телле” или “Севильском цирюльнике”, под восторженный хохот товарищей и аккомпанемент Аннет; а то еще – заноситься в “Херувимской” под самый потолок своего юношеского тенорка.

Наравне с латынью и математикой в училище преподавались музыка и пение; Чайковский без особого рвения стал продолжать прерванные в свое время уроки. Учителем его был Беккер – знаменитый рояльный фабрикант; пению воспитанников учил Ломакин, быстро разочаровавшийся в теноре Чайковского, когда его голос начал меняться.

К православному богослужению и особенно к церковному пению Чайковский стал прислушиваться внимательно именно в эти годы, с увлечением пел в церковном хоре и даже мечтал стать его регентом. Однако Ломакин считал, что он вял, смешлив, да и рука у него недостаточно твердая, и он был отставлен.

Уроки с Беккером не приносили Чайковскому никакой пользы, и так как в семье еще жила память о его детской склонности и так как Чайковский сам в отпускные дни увеселял общество модными вальсами, Илья Петрович, со

всегдашней своей заботливостью, иногда, впрочем, примененной как-то не ко времени и не к месту, – решил взять сыну специального учителя музыки, который бы приходил по утрам, в воскресенье, и с которым бы Петруша мог усовершенствоваться в своем таланте, буде таковой окажется.

Рудольф Кюндингер приехал в Петербург восемнадцатилетним молодым человеком и сразу обратил на себя внимание как виртуоз на одном из университетских концертов, где он сыграл концерт Литоляфа – обе партии, и рояльную и оркестровую. В 1855 году он был приглашен к Чайковскому – молодых людей с такими способностями (“чуть выше среднего”, как оценил их Кюндингер) виртуоз видел немало. Платили ему исправно, в доме, как известно, было много барышень, и с уроков Кюндингер не торопился уходить домой.

Обыкновенно по утрам они занимались. Потом бывал завтрак – необычайно “цветистый”, к удовольствию Кюндингера; потом учитель и ученик отправлялись в концерт, а вечером Петруша начинал свои музыкальные фокусы (с полотенцем и без), приводившие в восторг Аннет и ее сестер.

Они считали его музыкальным гением именно за эти фокусы, – а он в то время не мог бы перечислить симфонии Бетховена, не имел понятия ни о Шумане, ни о Бахе. На университетских концертах играли Мендельсона, Гайдна, Литоляфа, иногда Моцарта и Бетховена; накануне он слушал Россини и Доницетти, потом, вечером – безымянные романсы. Все это ему нравилось почти одинаково, невежество его было поразительно.

Его чутье по части гармонии несколько раз удивило Кюндингера, но не настолько, чтобы полюбопытствовать, что случилось с его учеником, когда через три года уроки прекратились. К этому времени с инструментальной музыкой Запада Чайковский познакомился, проиграв ее с Кюндингером в четыре руки. Итальянская опера съедала его карманные деньги и держала его в плену: там он видел какое-то относительное совершенство – голосов, оркестра, хора, – и это ему нравилось. Уроки же с Кюндингером пришлось прекратить по случаю неожиданной семейной катастрофы.

Пятнадцатилетняя сестра Сашенька окончила институт и вернулась в семью, и Илья Петрович решил, что этого достаточно, чтобы расстаться с братом и начать прежнюю жизнь. Сашенька должна была заменить близнецам мать – родственники только ахали на это. Но Илья Петрович сразу вознес дочку на такую высоту, что ей только оставалось повелевать домом и самим Ильей

Петровичем. Оба старших брата, и те слушались ее беспрекословно. Она вошла в роль хозяйки дома, когда весной 1858 года старик Чайковский потерял в сомнительной афере все свое состояние. Это было настоящим ударом для него. Илье Петровичу приходилось на старости лет искать службу. В память прежних инженерных заслуг он получил место директора Технологического института. С детьми он переехал в большую казенную квартиру. Денег было мало, но видимость была богатая. Кюндингеру отказали, зато одевалась и выезжала Сашенька, зато в просторных казенных хоромах она, Коля и Петруша могли вовсю устраивать свои бешеные вечеринки, – они сами себе теперь были хозяевами.

Апухтин был введен в дом. Время близилось к выпуску. Петр Ильич – он постепенно из Петруши становился взрослым, выпускным правоведом – готовился выйти в чине титулярного советника в петербургский чиновный свет. Несомненно, недурная (“чуть выше среднего”) карьера его там ожидала: в нем было достаточно приятности; внешней – в мягких манерах, в молодом лице; он нравился в обществе, премило играл на фортепиано и даже сочинил один романс на слова Фета: в музыкальном отношении слабый, но опять-таки барышни были в восторге. И внутренней приятности было у него достаточно: он был порядочный молодой человек, без излишней прыти, без каких-либо отчетливых способностей, – но нельзя же всех сравнивать с гениальным Лелей Апухтиным, о котором шумит Петербург! Он был, как говорили в то время, в высшей степени симпатичным юношей, и этим исчерпывалась его сущность. 13 мая 1859 года он окончил училище и поступил в I отделение департамента министерства юстиции.

То, что для других было началом жизни, самостоятельной, настоящей, для него было лишь продолжением все той же скучной обязанности что-то где-то делать, ему совершенно ненужное, отсиживать какие-то долгие часы, занимаясь посторонним ему и очень нелюбопытным делом. Он сидел в канцелярии, строчил бумаги и даже не помнил лиц людей, сидевших и строчивших рядом с ним. Иногда неприятная мысль задевала его: при его бездарности его непременно обойдут по службе; ох, что-то с ним вообще будет, при его бездарности и его рассеянности! Еще вчера изорвал он, задумавшись, одну ненужную бумагу и... съел ее. Привычка жевать бумагу осталась у него с детства.

Зато вечерами теперь он полностью предался тому, к чему постепенно, за последний год, пристрастился с целым кружком таких же, как он, молодых и веселых существ: сестра, брат, Аннет, Апухтин и еще с десятков неуемных

барышень и окончивших училище юношей кружились в каком-то непрерывном шумном смерче развлечений и удовольствий. Никто из них не заботился о том, что же будет дальше, были бы только деньги, платья, была бы только веселая музыка; лишь бы отстали старшие со своими замечаниями и советами.

Летом – фейерверки, домашние спектакли, прогулки, пикники. Страсть ко всевозможным выдумкам сохранилась у Чайковского с детства, – а тут был широкий простор ее проявлению. Зимой – катанья, появление в модные часы на Невском, в Летнем саду, в ресторанах, – как это ни было трудно. Уже появилась сноровка, как пускать пыль в глаза и как с десятью рублями жить на сто. И как пролезать с деланным равнодушным лицом в высший круг, когда сердце стучит от самолюбивого волнения.

Девушек, женщин вокруг него было много. Его кузины и сестра сдружились с целым роем апухтинских поклонниц, которые были всех возрастов и на все вкусы, начиная от старухи Хвостовой (знавшей когда-то Лермонтова и теперь перенесшей свое обожание с Лермонтова на Апухтина) и кончая бойкими девочками, щебетавшими вокруг Лели его же стихи. Чайковский имел у них порядочный успех – он играл, танцевал, был неутомим в затеях, но его больше занимало разнообразное женское множество, чем какая-нибудь одна; два-три раза пытался он было увлечься, но игра показалась ему не стоящей свеч, да и не было настоящего желания к этим милым, легким, порхающим существам. Сестра считала, что он становится любовным неудачником, и он на это не возражал. Уже через год он почувствовал полное, окончательное, непреодолимое равнодушие к женщинам.

Но страстей у него было немало. И на одном из первых мест был теперь театр. Иногда ему приходилось разрываться: два приглашения, “Жизель” с Феррарис, Лагруа в “Норме”, премьера во французском театре... Он не знал, что предпочесть, что выбрать. Феррарис, как, впрочем, и Лагруа, перед которой он трепетал, была некрасива. Друзья потешались над ним. Но он так серьезно рассуждал о “твердости носка” и “элевации”, что сразу было видно знатока по этой части. Иногда, впрочем, он принимался дома или в гостях, у многочисленных родственников и друзей так ловко подражать и этой элевации, и твердости носка, и бельканто своих любимцев, и монологам Михайловского театра, что публика решала, что его подлинное дело в этой жизни – смешить ее всеми способами, и благодарно хохотала до упаду. А когда он, усталый от представления, говорил кому-нибудь тихомолком, что “Сомнамбула”, кажется, не стоит двух тактов Моцарта или Глинки, слушатель смотрел с удивлением и

недоверием ему в лицо.

Но для него, несмотря на этот вихрь шумного, подчас порочного и всегда легкомысленного существования, временами это было так. Веселая петербургская жизнь не всегда мучила в памяти то, что просияло ему так чудесно в дни, когда он был “особенным” и не был еще “обыкновенным”, каким стал теперь.

Но в качестве “обыкновенного” он знал наизусть весь репертуар итальянцев и именно этим знанием подкупил своего нового знакомого Пиччиоли.

Это была темная личность, и темная его дружба с Чайковским как будто завершила то, что несколько лет тому назад начал Апухтин. В Петербурге Пиччиоли был известен как учитель пения. Неаполитанец, женатый на подруге одной из кузин Чайковского, он скрывал свой возраст, молодился, красил усы и бороду и румянил губы. Ему было под пятьдесят. Говорили, что ему под семьдесят, и даже некоторые уверяли, что он носит на голове специальную машинку, подтягивающую лицо. Он был пылок, легок, подвижен, всегда влюбленный в кого-нибудь, он одинаково ненавидел и презирал Бетховена и цыганский романс, признавая только Верди, Россини и других “великих мелодистов Италии”, глумясь над симфонической музыкой, над мессой Баха и “Херувимской” Бортнянского.

В спорах с ним, в которых Пиччиоли всегда одерживал верх, Чайковский старался для самого себя выяснить некоторые смутные свои вкусы. Но мера подчас бывала им утрачена. Не было опыта и умения отстаивать свои мнения; самолюбию его льстила благосклонность этого бывалого и даже отчасти знаменитого человека. Втягиваясь через него еще больше в увлечение итальянщиной, в свободную от обязанностей и ответственностей жизнь, Чайковский скользил надо всем, что могло заставить его остановиться, задуматься...

Эта странная, подозрительная фигура безвкусицей своим, южным темпераментом, бесцеремонным поведением, дурной славой как бы довершала картину той пустой и пестрой жизни, в которой так свободно и весело чувствовал себя Чайковский, той жизни, где канцелярия и балет, переписка бумаг и итальянская опера и, наконец, раннее, блестящее и стремительное замужество Сашеньки летели в быстроте ничего не стоящего времени.

Веселье на Масленой 1861 года было последним, после него Чайковскому внезапно всё и все надоели. Сестра Саша была уже в Киевской губернии, в Каменке, замужем за сыном декабриста Давыдова и уже ожидала ребенка; из гостеприимного дома постепенно исчезли ее просчитавшиеся вздыхатели. Великий пост наступил со своими селянками и корюшками, жизнь стала тусклой, театров не было, начался сезон конного цирка и концертов – серьезных, а потому скучных. Служба тянулась, не принося никаких надежд, и вечерами в затихшем доме оставалось либо читать, либо играть на фортепиано, либо слоняться из комнаты в комнату, грызя себя за неудавшуюся жизнь. И иногда – все чаще – без свидетелей, без каких-либо внешних признаков переживались приступы молодого, безысходного отчаяния.

Отец, Илья Петрович, сидит в своем кабинете и “реформирует” Технологический институт, то есть размышляет о том, как бы это заведение, куда судьба поставила его директором, подладить к новым веяниям переживаемых годов. Теперь всюду – новшества, и он, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, прекрасно понимает, что “дух” нынче другой, чем был во времена его молодости: меняется Россия, и всем есть в ней дело. И за двух своих сыновей он спокоен – и Николай, и Ипполит найдут для себя в этой России место. Его заботит Петр... Но времени нет думать о семействе. С утра надевается мундир, навешиваются ордена. А вечером, в тишине кабинета, он пишет доклады. И о том, что у него есть еще двое: два десятилетних близнеца – которым, после отъезда Сашеньки, и ногтей-то постричь, и проверить, вымыты ли уши, некому! – он забыл, он совсем забыл.

Они ходят в пансион, где их заставляют множить дробь на дробь, а они еще не знают таблицы умножения. Их срамят: генеральские сынки, а неучи, даже ножкой шаркать не умеют! Матери нет, сестра уехала, есть тетка, но у нее свои дети, свои заботы. Они торчат на кухне, они в темном углу зала тихонько плачут от скуки, обнявшись, как девчонки; они иногда слушают раскаты старого фортепиано.

Однажды, в тихий вечер, когда они сидели на одном из подоконников, а Чайковский шагал по квартире (днем он был у Пиччиоли, практиковался в итальянском языке), он заметил их, зевающих, болтающих ногами. Он подошел к ним. Он был вдвое старше. Он почувствовал, что они замерли, восхищенно и

испуганно глядя на него и не зная, погладит он их или даст им щелчка. И вдруг ему стало их жалко. Он обнял их и повел к себе в комнату и там рассказал им какую-то невероятную историю, насмешил их, объяснил им дробь, научил читать “Отче наш”. Он с жадностью смотрел в их лица: Толя был хорошенький, большеглазый. Модя – неказистее, пожалуй, – забавнее. Они могли пока стать смыслом его жизни. Там видно будет. Пока, сейчас, он будет кому-то нужен и кем-то беззаветно любим, – простые, неизбежные человеческие потребности! И прежде чем уложить их спать, он сыграл им и даже спел что-то. Они держались за руки и готовы были от благодарности и восторга умереть за него.

За ужином Илья Петрович долго смотрел на сына. Он несколько раз пытался сказать ему свои настоящие о нем мысли. Сначала он гнал их от себя: министерство юстиции, разве это плохая дорога? И разве мало молодежи сейчас, – когда месяца не прошло с объявления манифеста и кругом говорят о судебной реформе, – разве мало преуспело на этом поприще? Взять хотя бы того же Платона Вакара... Да нет, что говорить! Но есть у Петруши другая дорога.

И вот Илья Петрович, ничего никому не говоря, ни даже брату, ходившему “под француза”, с которым принято советоваться во всех делах, едет к Кюнди́нгеру, тому самому Петрушиному учителю, которому пришлось отказать когда-то и о котором все говорят как о человеке понимающем. Он решил спросить его: есть ли у сына настоящий музыкальный талант?

И Кюнди́нгер любезно отвечает ему: нет. У Петра Ильича Чайковского музыкального таланта нет. Есть способности, он, право, недурно играет. Но дальше что? Нет, для музыкальной карьеры он не годится. Да и поздно начинать: ему скоро двадцать один год.

Илье Петровичу времени нет заниматься семейством. Но за ужином (не продохнуть в квартире от запаха жареной рыбы и постного масла!) он успевает еще раз подумать о Петре и сказать: а по-моему, Петруша, ты бы мог как-нибудь сочетать службу с музыкальными занятиями. По-моему, Петруша, у тебя настоящий музыкальный талант, и не поздно, нет, не поздно сделаться тебе артистом. На что сын смеется: только я немножко пообвык в департаменте, а вы хотите, чтобы я пустился в изучение генерал-баса? Стар я для этого. Вон Моцарт в двадцать лет...

А в воскресенье об этом рассказывают дядюшке Петру Петровичу. Тот, стуча костылем, с дрожью в голосе кричит:

- Это зачем? Юриспруденцию менять на трубу?!

Для него в слове “артист” соединялись: цыган, безбожник, юродивый.

Заботой о близнецах было наполнено теперь свободное время Чайковского, и постепенно он сделал так, что вокруг него из прежней шумной ватаги не осталось никого, кроме Апухтина, который из “первого шута” при его “дворе” стал просто старым другом, с которым, собственно, все давно было переговорено, а в будущем могли быть одни расхождения. Знакомые барышни, кузины вышли замуж, и когда наступило лето и представился неожиданный случай съездить за границу – секретарем и переводчиком знакомого инженера, – Чайковский с радостью согласился. В первый раз покидал он Россию. От Динабурга до границы ехали в дилижансе, причем пассажиры снимали шапки, крестились, махали платками часовому и даже роняли слезы, – до того минута была торжественная. А там, сутки спустя, началось изучение немецкой столицы, – началось и кончилось “Орфеем в аду” Оффенбаха; мелькнул Гамбург с его низкопробными увеселениями; Бельгия, с “сумасшествующим морем”, где внезапно защемило сердце при мысли об отце и братьях; Лондон, куда поехали послушать Патти, и, наконец, Париж.

Он был вполне счастлив. Этим летом, когда осуществилась его давняя мечта увидеть за границу, он вернул себе на короткое время способность глотать жизнь, не думать, сжигать время, а главное – наслаждаться весельем, пестротой впечатлений; вернул на два месяца с тем, чтобы к осени устать от всего этого: от людей, в которых постепенно разочаровывался, от городов, рябивших в памяти, от трескучей и роскошной музыки, слушая которую он все больше убеждался, что есть, кроме нее, еще и другая, которую он так мало знает, но которая и есть настоящая.

В сентябре месяце она показалась ему очень важной, но и очень трудной, когда он очутился в музыкальных классах, открытых в ту осень в Петербурге. Это был пролог к консерватории, которую готовился создать Антон Рубинштейн, при всеобщих насмешках и протестах. Но Рубинштейн не спрашивал согласия на свои поступки ни у печати, ни у общественности. Музыкальные классы были открыты, у каждого из профессоров было уже по 2–3 ученика; и появились даже ученицы.

Уроки начинались в восемь часов утра. В это время часто бывало еще темно. Осень стояла холодная и сырая. Чайковский одевался при свечах, глотал чай с булкой и бежал от Технологического на угол Мойки и Демидова переулка. Там топили не каждый день, и когда топили, то дым ел глаза, и от угара болела голова. Профессор Заремба, читавший “музыкальное сочинение”, усыпительно твердил, что минорный тон есть грех прародительский, а мажорный – греха искупление. От этих уроков приходилось бежать в департамент, где при каждом новом назначении и повышении Чайковского упорно обходили. Наступал вечер, и он теперь, объевшись балами и итальянской оперой, сидел дома, занимался с братьями, играл с отцом в карты или вывозил всех троих в русский театр.

Профессор Заремба не приближал его к музыке, это он и сам видел, но он теперь, отчасти ощупью, шел к ней сам, еще не зная твердо, что он в ней любит, кроме Моцарта (но это было еще детское), и постепенно начиная понимать, что именно он в ней не любит, что именно научается разлюбить. Прежде чем окончательно решиться на музыку, он начинал ненавидеть все, что не она: свет и службу. “Рано или поздно променяю службу на музыку, – писал он сестре в Киев, променяв на музыку уже свет, который оба они так любили. – Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом: я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет покойна, и я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу и людей”.

Сомнения в себе его терзали, но первые попытки творчества давали какую-то прочность надеждам. “Службу я, конечно, не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник...” Но чему можно было научиться у Зарембы, никогда не слыжавшего Шумана, считавшего Бетховена – новым, а Мендельсона – модным? В Европе гремели Лист и Берлиоз, Вагнер в конце сезона появился в Петербурге. И, Боже мой, с каким волнением отправился Чайковский на его первый концерт!

Вагнер долго сам не знал, будет он или не будет дирижировать: у него был насморк (с насморком он и в Москву выехал). В зале не было ни одного свободного места; публика была богатая, нарядная, знавшая уже заранее, что Вагнер дирижирует спиной к публике и в перчатках. Нет, только он один мог позволить себе это! До чего это было неожиданно, смело и умно! Чайковский в антракте ходил слушать, что говорят о нем в зале. Его оглушила, ослепила эта музыка, он ужасался ей и не понимал ее. Многие говорили, что она гениальна.

Он долго стоял в дверях возле нескольких человек, остановившихся кружком. Они говорили с жаром. Тот, что выглядел всех старше, накручивал на палец длинную свою бороду и гудел басом; молодой инженерный офицер пытался вставить словцо в то гудение, но не мог. Совсем еще юноша, розовый и нежный, слушал двух споривших – военного и штатского, – вцепившихся друг в друга; тут же стоял чуть-чуть грузный, красивый человек восточного типа.

Один уверял, что он едва не заснул, такая была “тощища”; слова “бездарность”, “дребедень”, “хлам” так и сыпались вокруг; особенно возмущали всех тарелки, громыхнувшие, по их мнению, где-то “совсем зря”. Щеголеватого военного нельзя было унять, до того он разгорячился; большеглазый, с окладистой бородкой держал его за руки.

Чайковский отошел к креслам, где две молоденькие девушки без смущения вытирали платком слезы восторга и волнения. Он еще раз оглянулся. Ему страстно хотелось послушать еще, хотелось самому сказать что-то... Он и сам не знал, что бы он сказал. Он позавидовал этому одушевлению, дружеским прозвищам, долетавшим до его ушей. Любители? Музыканты?.. Толпа чужих и знакомых людей отделила их от него...

Санкт-Петербургская консерватория, открытая в 1862 году, на первых порах мало чем отличалась от Музыкальных классов, из которых она вышла. Открыта она была торжественно: молебном, пышным приемом вел. кн. Елены Павловны со свитой, и Антон Григорьевич Рубинштейн, вместе с десятком профессоров и преподавателей (немцами, итальянцами и поляками), впрягся в это дело. Только ко второму году существования консерватория стала несколько походить на европейское учебное заведение.

В первый год Чайковский, как, впрочем, и остальные, не ощущал особой разницы с “классами”. Все так же философствовал и рассуждал профессор Заремба. Все так же усердно одолевались учениками технические трудности фортепиано. Департамент по-прежнему отнимал у Чайковского добрую половину дня. В душе он решил к лету его бросить, но новый консерваторский друг, весьма начитанный молодой человек, знакомый с самим Катковым и не по летам солидный, ему этого не советовал: из вас не выйдет ни Верди, ни Оффенбаха, говорил Герман Августович Ларош, которому в то время едва минуло семнадцать лет, внимательно глядя в глаза Чайковскому, а чем же вы будете жить? И действительно, уже и сейчас приходилось думать об уроках.

Этот Ларош с некоторых пор стал прямо необходим Чайковскому. В нем была какая-то деловитость, однако без всякой суетливости, и основательность знания, которая Чайковскому казалась удивительной. С детства Лароша готовили в музыканты, и все образование его было обдуманно и предрешено. “Из вас не выйдет ни Верди, ни Оффенбаха”, – повторял он с такой уверенностью в том, что это именно так и будет, что возражать Чайковскому было нечего.

Но желание сочинять удивительно упорно томило его в ту зиму, и все чаще поддавался он стыдной юношеской слабости: мечтать. Мечта была какая-то неосновательная – в ней не было ни подлинного честолюбия, ни непосредственного напора таланта, мечта была о композиторстве. Его стала волновать музыкальная обстановка – не кулисы оперы, не случайные знакомые, певцы и певицы, с которыми он бывал запанибрата, оставаясь им чужим, а вся эта обстановка, созданная Рубинштейном вокруг консерватории, – вечера, на которых его уже выпускали сопровождать; европейские музыкальные новости, долетавшие сюда; собственное российское музыкальное оживление и, наконец, сам Антон Григорьевич, к которому он поступил в класс на второй год обучения.

Теперь он уже не был чиновником, он был музыкантом: отчисление от штатного места в министерстве юстиции произошло незаметно – он просто перестал ходить в департамент. К началу второго года у него было на пятьдесят рублей в месяц уроков. Денежные дела отца шли все хуже, Чайковский не мог надеяться на его помощь. Приходилось порой пешком бегать из Коломны на Охту, щегольские сюртуки его истрепались; кое-кто из прежних знакомых на Невском перестал узнавать его, может быть, – умышленно, а, впрочем, вероятно, – искренне: он отрастил волосы, носил широкополую шляпу.

С Ларошем, которого он теперь уже звал “Маня, вы”, они долгими часами играли в четыре руки – и было здесь все, и Бетховен, и “Жизнь за царя”, и немецкие новинки. За завтраком между лекциями, репетициями, собственными уроками и концертами они встречались в “пятикопеечной” кухмистерской, в подвале Голландской церкви, куда сходилась вся консерватория. Вечером, провожая друг друга домой, они порой не могли расстаться до глубокой ночи, садились у ворот на тумбу, спорили, говорили о будущем, иногда пророчили друг другу великую музыкальную славу...

Но это бывало редко – оба были людьми сдержанными, и дружба романтиков была им не по нутру. Рассудительный, выглядевший старшим, Ларош привносил

в эти беседы отголоски музыкальной политики, которой питался на холостых вечеринках у Серова, гремевшего в то время своей “Юдифью”. Чайковский чувствовал всю пользу этой дружбы; без теплоты, но проникнутой каким-то ранним обоюдным уважением. Он впитывал в себя теперь все, что мог. Но больше разговоров, конечно, давала ему сама музыка.

Антон Григорьевич входил в класс. Он не был одарен лекторским талантом. Он садился к роялю, “лев разминал свои царственные лапы”, и начинал лекцию игрой, и продолжал, и кончал ее игрой: все сонаты Бетховена подряд, между ними: послушайте! Вы слышите? Дивно! Упоительно! И – дальше... Ученики и ученицы сидят не дыша. И так – три часа подряд. Вы поняли? Да, они поняли! И шумно выходит, насупившись, откидывая космы.

Или задавал он “сочинителям” задачи: к субботе написать квартет, ко вторнику – увертюру. Чайковский ночами сидел над партитурами, утром приносил в класс еще мокрые листы нотной бумаги. Антон Григорьевич сыграет четыре такта: “Никуда не годится!” – и дальше не станет играть. И закажет оркестровать D-dur’ную сонату Бетховена четырьмя разными способами. И, пожалуйста, без английского рожка! У вас и без того всегда шуму много! А если что-нибудь ему понравится, то в виде ласки он так огреет кулаком по спине, что подогнутся колени. Впрочем, хвалил он больше Лароша и возлагал на Германа Августовича большие надежды.

Ларош скрывал от него свои посещения серовской квартиры. Не дай бог! Антон Григорьевич был не только первый, он был единственный, – это всем было известно, а тут рядом с ним, в том же Петербурге, забродило вдруг что-то новое. Конечно, Ларошу в голову не приходило дружить или хотя бы знакомиться с молодой шайкой безграмотных в музыке инженеров, химиков и военных, о которых печатно и устно начинал гудеть Стасов, – еще недавно неразрывный друг Серова, а сейчас почти порвавший с ним, на почве все того же Вагнера. Ларош считал себя слишком серьезно образованным человеком, чтобы знаться всерьез с этой публикой, которая ничему никогда толком не училась, не уважала композиторского таланта Антона Григорьевича и в глаза не видала профессора Зарембу. Но Серов – это другое дело, это все-таки музыка, и нет нужды, что великие мира сего не ладят друг с другом. Странная компания льстецов, бездарностей, пьянчуг и замечательных людей собирается на его “вторниках”.

Однажды Герман Августович прихватил с собой Чайковского, взяв с него клятву, что тот об этом не проболтается. “Юдифь” волновала в тот год и молодых, и

старых и не сходила с репертуара. По дороге Чайковский, боясь проронить слово, слушал рассказ Лароша: это была история большой давности, это было в 1842 году, когда приезжал Лист.

Говорят, Серов со Стасовым – они тогда были как бы одно – весь концерт прорыдали от восторга, уткнувшись в бархатный барьер балкона, не спали ночь и на рассвете написали Листу письмо. Они сами отнесли это письмо, и Лист принял их. Что было при этом свидании, они не рассказали никому. Известно, что, уходя, они несколько раз, обливаясь слезами, поцеловали Листу руку... Когда на следующий год Лист вернулся в Петербург, итальянская опера с Рубини уже не дала ему собрать полного зала... Говорят, Глинка очень огорчился этим.

Теперь от серовского молодого пыла не осталось следа: желчный ум да рассудочное творчество по вагнеровским рецептам; полемика в журналах, вечная обида на всех за то, что его якобы затирают; никому не нужные лекции “о музыке с ее технической, исторической и эстетической стороны”. Чайковский шел к Серову без всякого очарования, без нетерпения. Он увидел окруженного подобострастием, еще не старого, серьезного и усталого человека. В тот вечер среди гостей был Достоевский. Был жестокий спор о музыке, в котором принимали участие решительно все. Ларош, как видно, был здесь чтим, но Чайковский не произвел никакого впечатления. Да и сам он почувствовал, что разговоры, в которые он внимательно вникал, хоть и любопытны ему, но люди остаются совершенно чужими: ни к хозяину, ни к гостям он не испытывал никакой приязни.

Итак, он теперь был музыкантом; гонялся за рублевыми уроками, зубрил теорию, писал по две композиции в неделю, донашивал сшитые у дорогого портного, заштопанные кухаркой вырезные жилеты. Правоведский холодок в манерах оставался прежним; он был красив, строен, но выражение какого-то небрежения к окружающему появилось у него в глазах, в складках пухлых губ. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы напускать на себя такую маску, вместе с тем как раз в эти годы ему пришлось узнать столько нового, что выражение равнодушия не вязалось с той душевной напряженностью, в которой он жил. Небрежение к окружающему происходило от постоянной острой сосредоточенности на самом себе. Свобода, которую он получил, бедность, которую за ней узнал, и, наконец, уверенность – так поздно! – в бесспорном призвании, вот что доделало его как человека.

Но это не прошло даром, и о том, что происходило в нем в эти годы консерваторского учения и первых композиций, дали знать сильные и короткие галлюцинации, испугавшие маленьких братьев и скрываемые от отца. Перед сном бывали минуты жесточайшей дрожи, судорог, онемения конечностей, какие-то “ударники”, как он называл их про себя, после которых наступала долгая бессонная слабость.

Он вспоминал, как в детстве, после кори, когда еще жива была мать, он болел странной болезнью спинного хребта, и доктор говорил о дурной наследственности. С тех пор прошла беззаботная, пустая юность, не оставив после себя ничего. Теперь, когда он душой возвращался к музыке своего детства, вместе с музыкой возвращалась и болезнь, иногда державшая его часами на грани одинокого безумия.

Музыка его детства, Моцарт! В каком сиянии сейчас возвращался к нему его бог. Это было небо, спускавшееся к нему в русскую, будничную юдоль, где, правда, бывали и свои редкие праздники: возобновление “Руслана”, концерты в городской думе, вечерняя игра с Ларошем в четыре руки, “Рай и Пери” Шумана, перед которым он трепетал, и многое другое. Но то было небо, свет, слепивший и вызывавший слезы блаженства; и как он плакал! Больше всего в жизни он боялся, что эти слезы увидят другие и назовут его “институткой”. Ему и без того было тяжело слушать, когда говорили, что он женственен, – от бешеного смущения и обиды он готов был драться.

Но кипел он редко, и смирение было в нем природным. Он стоял опустив голову, когда Рубинштейн распекал его за “капитальное” летнее сочинение, “Грозу”, увертюру к драме Островского. Смирение было и при удаче “Танцев сенных девушек”, которыми дирижировал в Павловске Иоганн Штраус. Это был первый успех; публика, впрочем, не обратила на новое имя никакого внимания: один, два бранных отзыва в печати, и все. А затем он сам в Михайловском дворце продирижировал новой своей увертюрой, в F-dur, исполненной консерваторским оркестром.

То лето он провел у сестры в Каменке. Сестра стала напоминать ему мать. После юности, полной выездов, петербургского самолюбивого блеска, – одна беременность за другой, ключи от кладовых, хозяйственный, трудолюбивый муж, большое, когда-то великолепное имение. Теперь от той Каменки, где сорок лет назад сверкали легкомысленные пушкинские красавицы, где сам он бывал влюбленным и ветреным гостем, не осталось почти ничего: и дом был новый, и

парк наполовину вырублен, и “местечко” появилось под боком. Пушкина помнила здесь свекровь Сашеньки да кое-кто из старой крепостной челяди, но праздный, веселый дух старины отлетел отсюда навеки. Со стола Давыдова не сходили счетные книги. Свекла, пшеница, лен – теперь все это требовало не только от мужика, но и от помещика трудового пота.

И после этой семейственной жизни Чайковский внезапно остался совершенно один: вернувшись в Петербург, он простился с отцом и братьями, они уезжали на зиму на Урал к старшей, к Зинаиде. Чайковский остался один, переселился в пустую квартиру Апухтина, уехавшего в Москву, и понял, что еще немного, и он станет маньяком: ему никто не был нужен, и он не был нужен никому. Денег не было, были долги; кто-то из прежних чиновных приятелей предложил ему место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади... Он закрыл свои двери для всех. Сочинение шло туго, минутами казалось, что от строгостей Антона Григорьевича и недоверия окружающих есть одно спасение: департамент. Не вернуться ли?.. Он работал над нотными листами все ночи и отрывался от них в невыносимой тоске. Он был во всем мире один, неоткуда было ждать ни участия, ни помощи. Ларош приходил с ним играть, спорить о Шопене; а время шло, ему уже было двадцать пять лет, и ничего еще не было сделано.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Второе издание “Чайковского” по-французски вышло в 1987 г. в издательстве Actes Sud во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того написанное. Оно повторено в голландском

издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках.

2

“Видишь, миленький” (итал.) – ария Церлины из оперы В.А. Моцарта “Дон Жуан” (II д., № 19).

Купить: https://tellnovel.com/ru/berberova_nina/chaykovskiy-istoriya-odinokoy-zhizni

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)